

Антон Чехов

# Три года



АНТОН ЧЕХОВ

**Три года**

«Public Domain»

1895

**Чехов А. П.**

Три года / А. П. Чехов — «Public Domain», 1895

## Содержание

I	5
II	11
III	14
IV	17
V	21
VI	25
VII	27
VIII	31
IX	33
X	36
XI	40
XII	43
XIII	45
XIV	48
XV	51
XVI	55
XVII	58

# Антон Чехов

## Три года

### I

Было еще темно, но кое-где в домах уже засветились огни и в конце улицы из-за казармы стала подниматься бледная луна. Лаптев сидел у ворот на лавочке и ждал, когда кончится все-нощная в церкви Петра и Павла. Он рассчитывал, что Юлия Сергеевна, возвращаясь от все-нощной, будет проходить мимо, и тогда он заговорит с ней и, быть может, проведет с ней весь вечер.

Он сидел уже часа полтора, и воображение его в это время рисовало московскую квартиру, московских друзей, лакея Петра, письменный стол; он с недоумением посматривал на темные, неподвижные деревья, и ему казалось странным, что он живет теперь не на даче в Сокольниках, а в провинциальном городе, в доме, мимо которого каждое утро и вечер прогоняют большое стадо и при этом поднимают страшные облака пыли и играют на рожке. Он вспоминал длинные московские разговоры, в которых сам принимал участие еще так недавно, – разговоры о том, что без любви жить можно, что страстная любовь есть психоз, что, наконец, нет никакой любви, а есть только физическое влечение полов – и все в таком роде; он вспоминал и думал с грустью, что если бы теперь его спросили, что такое любовь, то он не нашелся бы, что ответить.

Всенощная отошла, показался народ. Лаптев с напряжением всматривался в темные фигуры. Уже провезли архиерея в карете, уже перестали звонить, и на колокольне один за другим погасли красные и зеленые огни – это была иллюминация по случаю храмового праздника, – а народ все шел не торопясь, разговаривая, останавливаясь под окнами. Но вот, наконец, Лаптев услышал знакомый голос, сердце его сильно забилося, и оттого, что Юлия Сергеевна была не одна, а с какими-то двумя дамами, им овладело отчаяние.

«Это ужасно, ужасно! – шептал он, ревнуя ее. – Это ужасно!»

На углу, при повороте в переулок, она остановилась, чтобы проститься с дамами, и в это время взглянула на Лаптева.

– А я к вам, – сказал он. – Иду потолковать с вашим батюшкой. Он дома?

– Вероятно, – ответила она. – В клуб ему еще рано.

Переулок был весь в садах, и у заборов росли липы, бросавшие теперь при луне широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потемках; слышался оттуда шепот женских голосов, сдержанный смех, и кто-то тихо-тихо играл на балалайке. Пахло липой и сеном. Шепот невидимок и этот запах раздражали Лаптева. Ему вдруг страстно захотелось обнять свою спутницу, осыпать поцелуями ее лицо, руки, плечи, зарыдать, упасть к ее ногам, рассказать, как он долго ждал ее. От нее шел легкий, едва уловимый запах ладана, и это напомнило ему время, когда он тоже веровал в бога и ходил ко всенощной и когда мечтал много о чистой, поэтической любви. И оттого, что эта девушка не любила его, ему теперь казалось, что возможность того счастья, о котором он мечтал тогда, для него утеряна навсегда.

Она с участием заговорила о здоровье его сестры Нины Федоровны. Месяца два назад у его сестры вырезали рак, и теперь все ждали возврата болезни.

– Я была у нее сегодня утром, – сказала Юлия Сергеевна, – и мне показалось, что за эту неделю она не то чтобы похудела, а поблекла.

– Да, да, – согласился Лаптев. – Рецидива нет, но с каждым днем, я замечаю, она становится все слабее и слабее и тает на моих глазах. Не пойму, что с ней.

– Господи, а ведь какая она была здоровая, полная, краснощекая! – проговорила Юлия Сергеевна после минутного молчания. – Ее здесь все так и звали московкой. Как хохотала! Она на праздниках наряжалась простою бабой, и это очень шло к ней.

Доктор Сергей Борисыч был дома; полный, красный, в длинном ниже колен сюртуке и, как казалось, коротконогий, он ходил у себя в кабинете из угла в угол, засунув руки в карманы, и напевал вполголоса: «Ру-ру-ру-ру». Седые бакены у него были растрепаны, голова не причесана, как будто он только что встал с постели. И кабинет его с подушками на диванах, с кипами старых бумаг по углам и с большим грязным пуделем под столом производил такое же растрепанное, шершавое впечатление, как он сам.

– Тебя желает видеть мсье Лаптев, – сказала ему дочь, входя в кабинет.

– Ру-ру-ру-ру, – запел он громче и, повернув в гостиную, подал руку Лаптеву и спросил: – Что скажете хорошенького?

Было темно в гостиной. Лаптев, не садясь и держа шляпу в руках, стал извиняться за беспокойство; он спросил, что делать, чтобы сестра спала по ночам, и отчего она так страшно худеет, и его смущала мысль, что, кажется, эти самые вопросы он уже задавал доктору сегодня во время его утреннего визита.

– Скажите, – спросил он, – не пригласить ли нам из Москвы какого-нибудь специалиста по внутренним болезням? Как вы думаете?

Доктор вздохнул, пожал плечами и сделал обеими руками неопределенный жест.

Было очевидно, что он обиделся. Это был чрезвычайно обидчивый, мнительный доктор, которому всегда казалось, что ему не верят, что его не признают и недостаточно уважают, что публика эксплуатирует его, а товарищи относятся к нему с недоброжелательством. Он все смеялся над собой, говорил, что такие дураки, как он, созданы только для того, чтобы публика ездила на них верхом.

Юлия Сергеевна зажгла лампу. Она утомилась в церкви, и это было заметно по ее бледному, томному лицу, по вялой походке. Ей хотелось отдохнуть. Она села на диван, положила руки на колени и задумалась. Лаптев знал, что он некрасив, и теперь ему казалось, что он даже ощущает на теле эту свою некрасоту. Он был невысок ростом, худ, с румянцем на щеках, и волосы у него уже сильно поредели, так что зябла голова. В выражении его вовсе не было той изящной простоты, которая даже грубые, некрасивые лица делает симпатичными; в обществе женщин был неловок, излишне разговорчив, манерен. И теперь он почти презирал себя за это. Чтобы Юлия Сергеевна не скучала в его обществе, нужно было говорить. Но о чем? Опять о болезни сестры?

И он стал говорить о медицине то, что о ней обыкновенно говорят, похвалил гигиену и сказал, что ему давно хочется устроить в Москве ночлежный дом и что у него даже уже есть смета. По его плану рабочий, приходя вечером в ночлежный дом, за пять-шесть копеек должен получать порцию горячих щей с хлебом, теплую, сухую постель с одеялом и место для просушки платья и обуви.

Юлия Сергеевна обыкновенно молчала в его присутствии, и он странным образом, быть может чутьем влюбленного, угадывал ее мысли и намерения. И теперь он сообразил, что если она после всенощной не пошла к себе переодеваться и пить чай, то, значит, пойдет сегодня вечером еще куда-нибудь в гости.

– Но я не тороплюсь с ночлежным домом, – продолжал он уже с раздражением и досадой, обращаясь к доктору, который глядел на него как-то тускло и с недоумением, очевидно не понимая, зачем это ему понадобилось поднимать разговор о медицине и гигиене. – И, должно быть, не скоро еще я воспользуюсь нашею сметой. Я боюсь, что наш ночлежный дом попадет в руки наших московских святош и барынь-филантропок, которые губят всякое начинание.

Юлия Сергеевна поднялась и протянула Лаптеву руку.

– Виновата, – сказала она, – мне пора. Поклонитесь вашей сестре, пожалуйста.

– Ру-ру-ру-ру, – запел доктор. – Ру-ру-ру-ру.

Юлия Сергеевна вышла, и Лаптев немного погодя простился с доктором и пошел домой. Когда человек неудовлетворен и чувствует себя несчастным, то какую пошлостью веет на него от этих лип, теней, облаков, от всех этих красот природы, самодовольных и равнодушных! Луна стояла уже высоко, и под нею быстро бежали облака. «Но какая наивная, провинциальная луна, какие тощие, жалкие облака!» – думал Лаптев. Ему было стыдно, что он только что говорил о медицине и о ночлежном доме, он ужасался, что и завтра у него не хватит характера, и он опять будет пытаться увидеть ее и говорить с ней и еще раз убедится, что он для нее чужой. Послезавтра – опять то же самое. Для чего? И когда и чем все это кончится?

Дома он пошел к сестре. Нина Федоровна была еще крепка на вид и производила впечатление хорошо сложенной, сильной женщины, но резкая бледность делала ее похожей на мертвую, особенно когда она, как теперь, лежала на спине, с закрытыми глазами; возле нее сидела ее старшая дочь, Саша, десяти лет, и читала ей что-то из своей хрестоматии.

– Алеша пришел, – проговорила больная тихо, про себя.

Между Сашей и дядей давно уже установилось молчаливое соглашение: они сменяли друг друга. Теперь Саша закрыла свою хрестоматию и, не сказав ни слова, тихо вышла из комнаты; Лаптев взял с комода исторический роман и, отыскав страницу, какую нужно, сел и стал читать вслух.

Нина Федоровна была московская уроженка. Детство и юность ее и двух братьев прошли на Пятницкой улице, в родной купеческой семье. Детство было длинное, скучное; отец обходился сурово и даже раза три наказывал ее розгами, а мать чем-то долго болела и умерла; прислуга была грязная, грубая, лицемерная; часто приходили в дом попы и монахи, тоже грубые и лицемерные; они пили и закусывали и грубо льстили ее отцу, которого не любили. Мальчишкам посчастливилось поступить в гимназию, а Нина так и осталась неученой, всю жизнь писала каракулями и читала одни только исторические романы. Лет 17 назад, когда ей было 22 года, она на даче в Химках познакомилась с теперешним своим мужем Панауровым, помещиком, влюбилась и вышла за него замуж против воли отца, тайно. Панауров, красивый, немножко наглый, закуривающий из лампадки и посвистывающий, казался ее отцу совершенным ничтожеством, и, когда потом зять в своих письмах стал требовать приданого, старик написал дочери, что посылает ей в деревню шубы, серебро и разные вещи, оставшиеся после матери, и 30 тысяч деньгами, но без родительского благословения; потом прислал еще 20 тысяч. Деньги эти и приданое были прожиты, имение продано, и Панауров переселился с семьей в город и поступил на службу в губернское правление. В городе он завел себе другую семью, и это вызывало каждый день много разговоров, так как незаконная семья его жила открыто.

Нина Федоровна обожала своего мужа. И теперь, слушая исторический роман, она думала о том, как она много пережила, сколько выстрадала за все время, и что если бы кто-нибудь описал ее жизнь, то вышло бы очень жалостно. Так как опухоль у нее была в груди, то она была уверена, что и болеет она от любви, от семейной жизни, и что в постель ее уложили ревность и слезы.

Но вот Алексей Федорыч закрыл книгу и сказал:

– Конец и богу слава. Завтра другой начнем.

Нина Федоровна засмеялась. Она всегда была смешлива, но теперь Лаптев стал замечать, что у нее от болезни минутами как будто ослабевал рассудок, и она смеялась от малейшего пустяка и даже без причины.

– Без тебя тут до обеда приходила Юлия, – сказала она. – Как я поглядела, она не очень-то верит своему папаше. Пусть, говорит, вас лечит мой папа, но вы все-таки потихоньку напишите святому старцу, чтобы он за вас помолился. Тут у них завелся старец какой-то. Юличка у меня зонтик свой забыла, ты ей пошли завтра, – продолжала она, помолчав немного. – Нет, уж когда конец, то не помогут ни доктора, ни старцы.

– Нина, отчего ты по ночам не спишь? – спросил Лаптев, чтобы переменить разговор.

– Да так. Не сплю, вот и все. Лежу себе и думаю.

– О чем же ты думаешь, милая?

– О детях, о тебе... о своей жизни. Я ведь, Алеша, много пережила. Как начнешь вспоминать, как начнешь... Господи боже мой! – Она засмеялась. – Шутка ли, пять раз рожала, троих похоронила... Бывало, собираешься родить, а мой Григорий Николаич в это время у другой сидит, послать за акушеркой или за бабкой некого, пойдешь в сени или в кухню за прислугой, а там жида, лавочники, ростовщики – ждут, когда он домой вернется. Голова, бывало, кружится... он не любил меня, хоть и не высказывал этого. Теперь-то я угомонилась, отлегло от сердца, а прежде, когда помоложе была, обидно было, – обидно, ах, как обидно, голубчик! Раз – это еще в деревне было – застала я его в саду с одной дамой, и ушла я... ушла, куда глаза мои глядят, и не знаю, как очутилась на паперти, упала на колени: «Царица, говорю, небесная!» А на дворе ночь, месяц светит...

Она утомилась, стала задыхаться; потом, отдохнувши немного, взяла брата за руку и продолжала слабым, беззвучным голосом:

– Какой ты, Алеша, добрый... Какой ты умный... Какой из тебя хороший человек вышел!

В полночь Лаптев простился с нею и, уходя, взял с собой зонтик, забытый Юлией Сергеевной. Несмотря на позднее время, в столовой прислуга, мужская и женская, пила чай. Какой беспорядок! Дети не спали и находились тут же в столовой. Говорили тихо, вполголоса, и не замечали, что лампа хмурится и скоро погаснет. Все эти большие и маленькие люди были обеспокоены целым рядом неблагоприятных примет, и настроение было угнетенное: разбилось в передней зеркало, самовар гудел каждый день и, как нарочно, даже теперь гудел; рассказывали, что из ботинка Нины Федоровны, когда она одевалась, выскочила мышь. И страшное значение всех этих примет было уже известно детям; старшая девочка, Саша, худенькая брюнетка, сидела за столом неподвижно, и лицо у нее было испуганное, скорбное, а младшая, Лида, семи лет, полная блондинка, стояла возле сестры и смотрела на огонь исподлобья.

Лаптев спустился к себе в нижний этаж, в комнаты с низкими потолками, где постоянно пахло геранью и было душно. В гостиной у него сидел Панауров, муж Нины Федоровны, и читал газету. Лаптев кивнул ему головой и сел против. Оба сидели и молчали. Случалось, что так молча они проводили целые вечера, и это молчание не стесняло их.

Пришли сверху девочки прощаться. Панауров молча, не спеша, несколько раз перекрестил обеих и дал им поцеловать свою руку, они сделали реверанс, затем подошли к Лаптеву, который тоже должен был крестить их и давать им целовать свою руку. Эта церемония с поцелуями и реверансами повторялась каждый вечер.

Когда девочки вышли, Панауров отложил в сторону газету и сказал:

– Скучно в нашем богоспасаемом городе! Признаюсь, дорогой мой, – добавил он со вздохом, – я очень рад, что вы наконец нашли себе развлечение.

– Вы о чем это? – спросил Лаптев.

– Давеча я видел, как вы выходили из дома доктора Белавина. Надеюсь, вы ходили туда не ради папаши.

– Конечно, – сказал Лаптев и покраснел.

– Ну, конечно. А кстати сказать, другого такого одра, как этот папаша, не сыскать днем с огнем. Вы не можете себе представить, что это за нечистоплотная, бездарная и неуклюжая скотина! У вас там, в столице, до сих пор еще интересуются провинцией только с лирической стороны, так сказать, со стороны пейзажа и Антона Горемыки, но, клянусь вам, мой друг, никакой лирики нет, а есть только дикость, подлость, мерзость – и больше ничего. Возьмите вы здешних жрецов науки, здешнюю, так сказать, интеллигенцию. Можете ли себе представить, здесь в городе 28 докторов, все они нажили себе состояния и живут в собственных домах, а население между тем по-прежнему находится в самом беспомощном положении. Вот понадо-



билось сделать Нине операцию, в сущности пустую, а ведь для этого пришлось выписывать хирурга из Москвы – здесь ни один не взялся. Вы не можете себе представить. Ничего они не знают, не понимают, ничем не интересуются. Спросите-ка их, например, что такое рак? Что? Отчего он происходит?

И Панауров стал объяснять, что такое рак. Он был специалистом по всем наукам и объяснял научно все, о чем бы ни зашла речь. Но объяснял он все как-то по-своему. У него была своя собственная теория кровообращения, своя химия, своя астрономия. Говорил он медленно, мягко, убедительно и слова «вы не можете себе представить» произносил умоляющим голосом, щурил глаза, томно вздыхал и улыбался милостиво, как король, и видно было, что он очень доволен собой и совсем не думает о том, что ему уже 50 лет.

– Мне что-то есть захотелось, – сказал Лаптев. – Я с удовольствием поел бы чего-нибудь соленого.

– Ну что ж? Это можно сейчас устроить.

Немного погодя Лаптев и его зять сидели наверху в столовой и ужинали. Лаптев выпил рюмку водки и потом стал пить вино, Панауров же ничего не пил. Он никогда не пил и не играл в карты и, несмотря на это, все-таки прожил свое и женино состояние и наделал много долгов. Чтобы прожить так много в такое короткое время, нужно иметь не страсти, а что-то другое, какой-то особый талант. Панауров любил вкусно поесть, любил хорошую сервировку, музыку за обедом, спичи, поклонны лакеев, которым небрежно бросал на чай по десяти и даже по двадцати пяти рублей; он участвовал всегда во всех подписках и лотереях, посылал знакомым именинницам букеты, покупал чашки, подстаканники, запонки, галстуки, трости, духи, мундштуки, трубки, собачек, попугаев, японские вещи, древности, ночные сорочки у него были шелковые, кровать из черного дерева с перламутром, халат настоящий бухарский и т. п., и на все это ежедневно уходила, как сам он выражался, «прорва» денег.

За ужином он все вздыхал и покачивал головой.

– Да, все на этом свете имеет конец, – тихо говорил он, щури свои темные глаза. – Вы влюбитесь и будете страдать, разлюбите, будут вам изменять, потому что нет женщины, которая бы не изменяла, вы будете страдать, приходите в отчаяние и сами будете изменять. Но настанет время, когда все это станет уже воспоминанием и вы будете холодно рассуждать и считать это совершенными пустяками...

А Лаптев, усталый, слегка пьяный, смотрел на его красивую голову, на черную, подстриженную бородку и, казалось, понимал, почему это женщины так любят этого избалованного, самоуверенного и физически обаятельного человека.

После ужина Панауров не остался дома, а пошел к себе на другую квартиру. Лаптев вышел проводить его. Во всем городе только один Панауров носил цилиндр, и около серых заборов, жалких трехконных домиков и кустов крапивы его изящная, щегольская фигура, его цилиндр и оранжевые перчатки производили всякий раз и странное, и грустное впечатление.

Простившись с ним, Лаптев возвращался к себе не спеша. Луна светила ярко, можно было разглядеть на земле каждую соломинку, и Лаптеву казалось, будто лунный свет ласкает его непокрытую голову, точно кто пухом проводит по волосам.

– Я люблю! – произнес он вслух, и ему захотелось вдруг бежать, догнать Панаурова, обнять его, простить, подарить ему много денег, и потом бежать куда-нибудь в поле, в рощу, и все бежать без оглядки.

Дома он увидел на стуле зонтик, забытый Юлией Сергеевной, схватил его и жадно поцеловал. Зонтик был шелковый, уже не новый, перехваченный старою резинкой; ручка была из простой, белой кости, дешевая. Лаптев раскрыл его над собой, ему казалось, что около него даже пахнет счастьем.

Он сел поудобнее и, не выпуская из рук зонтика, стал писать в Москву, к одному из своих друзей:

«Милый, дорогой Костя, вот вам новость: я опять люблю! Говорю *опять* потому, что лет шесть назад я был влюблен в одну московскую актрису, с которой мне не удалось даже познакомиться, и в последние полтора года жил с известною вам «особой» – женщиной немолодой и некрасивой. Ах, голубчик, как вообще мне не везло в любви! Я никогда не имел успеха у женщин, а если говорю *опять*, то потому только, что как-то грустно и обидно сознаваться перед самим собой, что молодость моя прошла вовсе без любви и что настоящим образом я люблю впервые только теперь, в 34 года. Пусть будет *опять* люблю.

Если бы вы знали, что это за девушка! Красавицей ее назвать нельзя – у нее широкое лицо, она очень худа, но зато какое чудесное выражение доброты, как улыбается! Голос ее, когда она говорит, поет и звенит. Она со мной никогда не вступает в разговор, я не знаю ее, но когда я бываю возле, то чувствую в ней редкое, необыкновенное существо, проникнутое умом и высокими стремлениями. Она религиозна, и вы не можете себе представить, до какой степени это трогает меня и возвышает ее в моих глазах. По этому пункту я готов спорить с вами без конца. Вы правы, пусть будет по-вашему, но все же я люблю, когда она в церкви молится. Она провинциалка, но она училась в Москве, любит нашу Москву, одевается по-московски, и за это я люблю ее, люблю, люблю... Я вижу, как вы хмуритесь и встаете, чтобы прочесть мне длинную лекцию о том, что такое любовь и кого можно любить, а кого нельзя, и пр., и пр. Но, милый Костя, пока я не любил, я сам тоже отлично знал, что такое любовь.

Моя сестра благодарит вас за поклон. Она часто вспоминает, как когда-то возила Костю Кочевого отдавать в приготовительный класс, и до сих пор еще называет вас *бедный*, так как у нее сохранилось воспоминание о вас как о сироте-мальчике. Итак, бедный сирота, я люблю. Пока это секрет, ничего не говорите *там* известной вам «особе». Это, я думаю, само собой уладится, или, как говорит лакей у Толстого, *образуется ...»*

Кончив письмо, Лаптев лег в постель. От усталости сами закрывались глаза, но почему-то не спалось; казалось, что мешает уличный шум. Стадо прогнали мимо и играли на рожке, потом вскоре зазвонили к ранней обедне. То телега проедет со скрипом, то раздастся голос какой-нибудь бабы, идущей на рынок. И воробьи чирикали все время.

## II

Утро было веселое, праздничное. Часов в десять Нину Федоровну, одетую в коричневое платье, причесанную, вывели под руки в гостиную, и здесь она прошла немного и постояла у открытого окна, и улыбка у нее была широкая, наивная, и при взгляде на нее вспоминался один местный художник, пьяный человек, который называл ее лицо ликом и хотел писать с нее русскую Масленицу. И у всех – у детей, у прислуги и даже у брата Алексея Федорыча, и у нее самой – явилась вдруг уверенность, что она непременно выздоровеет. Девочки с визгливым смехом гонялись за дядей, ловили его, и в доме стало шумно.

Приходили чужие справиться насчет ее здоровья, приносили просфоры, говорили, что за нее сегодня почти во всех церквях служили молебны. Она в своем городе была благотворительницей, ее любили. Благотворила она с необыкновенной легкостью, так же, как брат Алексей, который раздавал деньги очень легко, не соображая, нужно дать или нет. Нина Федоровна платила за бедных учеников, раздавала старухам чай, сахар, варенье, наряжала небогатых невест, и если ей в руки попадала газета, то она прежде всего искала, нет ли какого-нибудь воззвания или заметки о чем-нибудь бедственном положении.

Теперь у нее в руках была пачка записок, по которым разные бедняки, ее просители, забирали товар в бакалейной лавке и которые накануне прислал ей купец с просьбой уплатить 82 рубля.

– Ишь ты, сколько набрали, бессовестные! – говорила она, едва разбирая на записках свой некрасивый почерк. – Шутка ли? Восемьдесят два! Возьму вот и не отдам.

– Я сегодня заплачу, – сказал Лаптев.

– Зачем это, зачем? – встревожилась Нина Федоровна. – Довольно и того, что я каждый месяц по 250 получаю от тебя и брата. Спаси вас господи, – добавила она тихо, чтобы не слышала прислуга.

– Ну, а я в месяц две тысячи пятьсот проживаю, – сказал он. – Я тебе еще раз повторяю, милая: ты имеешь такое же право тратить, как я и Федор. Пойми это раз навсегда. Нас у отца трое, и из каждых трех копеек одна принадлежит тебе.

Но Нина Федоровна не понимала, и выражение у нее было такое, как будто она мысленно решала какую-то очень трудную задачу. И эта непонятливость в денежных делах всякий раз беспокоила и смущала Лаптева. Он подозревал, кроме того, что у нее лично есть долги, о которых она стесняется сказать ему и которые заставляют ее страдать.

Послышались шаги и тяжелое дыхание: это вверх по лестнице поднимался доктор, по обыкновению растрепанный и нечесанный.

– Ру-ру-ру, – напевал он. – Ру-ру.

Чтобы не встречаться с ним, Лаптев вышел в столовую, потом спустился к себе вниз. Для него было ясно, что сойтись с доктором покороче и бывать в его доме запросто – дело невозможное; и встречаться с этим «одром», как называл его Панауров, было неприятно. И оттого он так редко виделся с Юлией Сергеевной. Он сообразил теперь, что отца нет дома, что если понесет теперь Юлии Сергеевне ее зонтик, то, наверное, он застанет дома ее одну, и сердце у него сжалось от радости. Скорей, скорей!

Он взял зонтик и, сильно волнуясь, полетел на крыльях любви. На улице было жарко. У доктора, в громадном дворе, поросшем бурьяном и крапивой, десятка два мальчиков играли в мяч. Все это были дети жильцов, мастеровых, живших в трех старых, неприглядных флигелях, которые доктор каждый год собирался ремонтировать и все откладывал. Раздавались звонкие, здоровые голоса. Далеко в стороне, около своего крыльца, стояла Юлия Сергеевна, заложив руки назад, и смотрела на игру.

– Здравствуйте! – окликнул Лаптев.

Она оглянулась. Обыкновенно он видел ее равнодушною, холодною или, как вчера, усталую, теперь же выражение у нее было живое и резвое, как у мальчиков, которые играли в мяч.

– Посмотрите, в Москве никогда не играют так весело, – говорила она, идя к нему навстречу. – Впрочем, ведь там нет таких больших дворов, бегать там негде. А папа только что пошел к вам, – добавила она, оглядываясь на детей.

– Я знаю, но я не к нему, а к вам, – сказал Лаптев, любясь ее молодостью, которой не замечал раньше и которую как будто лишь сегодня открыл в ней; ему казалось, что ее тонкую белую шею с золотою цепочкой он видел теперь только в первый раз. – Я к вам... – повторил он. – Сестра вот прислала зонтик, вы вчера забыли.

Она протянула руку, чтобы взять зонтик, но он прижал его к груди и проговорил страстно, неудержимо, отдаваясь опять сладкому восторгу, какой он испытал вчера ночью, сидя под зонтиком:

– Прошу вас, подарите мне его. Я сохраню на память о вас... о нашем знакомстве. Он такой чудесный!

– Возьмите, – сказала она и покраснела. – Но чудесного ничего в нем нет.

Он смотрел на нее с упоением, молча и не зная, что сказать.

– Что же это я держу вас на жаре? – сказала она после некоторого молчания и рассмеялась. – Пойдемте в комнаты.

– А я вас не беспокою?

Вошли в сени. Юлия Сергеевна побежала наверх, шумя своим платьем, белым, с голубыми цветочками.

– Меня нельзя беспокоить, – ответила она, останавливаясь на лестнице, – я ведь никогда ничего не делаю. У меня праздник каждый день, от утра до вечера.

– Для меня то, что вы говорите, непонятно, – сказал он, подходя к ней. – Я вырос в среде, где трудятся каждый день, все без исключения, и мужчины и женщины.

– А если нечего делать? – спросила она.

– Надо поставить свою жизнь в такие условия, чтобы труд был необходим. Без труда не может быть чистой и радостной жизни.

Он опять прижал к груди зонтик и сказал тихо, неожиданно для самого себя, не узнавая своего голоса:

– Если бы вы согласились быть моею женой, я бы все отдал. Я бы все отдал... Нет цены, нет жертвы, на какую бы я не пошел.

Она вздрогнула и посмотрела на него с удивлением и страхом.

– Что вы, что вы! – проговорила она, бледнея. – Это невозможно, уверяю вас. Извините. Затем быстро, все так же шумя платьем, пошла выше и скрылась в дверях.

Лаптев понял, что это значит, и настроение у него переменялось сразу, резко, как будто в душе внезапно погас свет. Испытывая стыд, унижение человека, которым пренебрегли, который не нравится, противен, быть может, гадок, от которого бегут, он вышел из дому.

«Отдал бы все, – передразнил он себя, идя домой по жару и вспоминая подробности объяснения. – Отдал бы все – совсем по-купечески. Очень кому нужно это твое все!»

Все, что он только что говорил, казалось ему, было глупо до отвращения. Зачем он солгал, что он вырос в среде, где трудятся все без исключения? Зачем он говорил назидательным тоном о чистой, радостной жизни? Это не умно, не интересно, фальшиво – фальшиво по-московски. Но вот мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают преступники после сурового приговора, он думал уже о том, что, слава богу, теперь все уже прошло, и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно по целым дням ожидать, томиться, думать все об одном; теперь все ясно; нужно оставить всякие надежды на личное счастье, жить без желаний, без надежд, не мечтать, не ждать, а чтобы не было этой скуки, с которой уже так надоело нянчиться, можно заняться чужими делами, чужим счастьем, а там незаметно наступит старость, жизнь

придет к концу – и больше ничего не нужно. Ему уж было все равно, он ничего не хотел и мог холодно рассуждать, но в лице, особенно под глазами, была какая-то тяжесть, лоб напрягался, как резина, – вот-вот брызнут слезы. Чувствуя во всем теле слабость, он лег в постель и минут через пять крепко уснул.

### III

Предложение, которое так неожиданно сделал Лаптев, привело Юлию Сергеевну в отчаяние.

Она знала Лаптева немного, познакомилась с ним случайно; это был богатый человек, представитель известной московской фирмы «Федор Лаптев и сыновья», всегда очень серьезный, по-видимому умный, озабоченный болезнью сестры; казалось ей, что он не обращал на нее никакого внимания, и сама она была к нему совершенно равнодушна, – и вдруг это объяснение на лестнице, это жалкое, восхищенное лицо...

Предложение смутило ее и своею внезапностью, и тем, что произнесено было слово *жена*, и тем, что пришлось ответить отказом. Она уже не помнила, что сказала Лаптеву, но продолжала еще ощущать следы того порывистого, неприятного чувства, с каким отказала ему. Он не нравился ей; наружность у него была приказчицкая, сам он был не интересен, она не могла ответить иначе, как отказом, но все же ей было неловко, как будто она поступила дурно.

– Боже мой, не входя в комнаты, прямо на лестнице, – говорила она с отчаянием, обращаясь к образку, который висел над ее изголовьем, – и не ухаживал раньше, а как-то странно, необыкновенно...

В одиночестве с каждым часом ее тревога становилась все сильнее, и ей одной было не под силу справиться с этим тяжелым чувством. Надо было, чтобы кто-нибудь выслушал ее и сказал ей, что она поступила правильно. Но поговорить было не с кем. Матери у нее не было уже давно, отца считала она странным человеком и не могла говорить с ним серьезно. Он стеснял ее своими капризами, чрезмерною обидчивостью и неопределенными жестами; и стоило только завести с ним разговор, как он тотчас же начинал говорить о себе самом. И во время молитвы она не была вполне откровенной, так как не знала наверняка, чего, собственно, ей нужно просить у бога.

Подали самовар. Юлия Сергеевна, очень бледная, усталая, с беспомощным видом, вышла в столовую, заварила чай – это было на ее обязанности – и налила отцу стакан. Сергей Борисыч, в своем длинном сюртуке ниже колен, красный, не причесанный, заложив руки в карманы, ходил по столовой, не из угла в угол, а как придется, точно зверь в клетке. Остановится у стола, отопьет из стакана с аппетитом и опять ходит, и о чем-то все думает.

– Мне сегодня Лаптев сделал предложение, – сказала Юлия Сергеевна и покраснела.

Доктор поглядел на нее и как будто не понял.

– Лаптев? – спросил он. – Брат Панауровой?

Он любил дочь; было вероятно, что она рано или поздно выйдет замуж и оставит его, но он старался не думать об этом. Его пугало одиночество, и почему-то казалось ему, что если он останется в этом большом доме один, то с ним сделается апоплексический удар, но об этом он не любил говорить прямо.

– Что ж, я очень рад, – сказал он и пожал плечами. – От души тебя поздравляю. Теперь представляется тебе прекрасный случай расстаться со мной, к великому твоему удовольствию. И я вполне тебя понимаю. Жить у старика-отца, человека больного, полоумного, в твои годы, должно быть, очень тяжело. Я тебя прекрасно понимаю. И если бы я околел поскорей, и если бы меня черти взяли, то все были бы рады. От души поздравляю.

– Я ему отказала.

У доктора стало легче на душе, но он уже был не в силах остановиться и продолжал:

– Я удивляюсь, я давно удивляюсь, отчего меня до сих пор не посадили в сумасшедший дом? Почему на мне этот сюртук, а не горячечная рубаха? Я верю еще в правду, в добро, я дурак-идеалист, а разве в наше время это не сумасшествие? И как мне отвечают на мою правду,

на мое честное отношение? В меня чуть не бросают камнями и ездят на мне верхом. И даже близкие родные стараются только ездить на моей шее, черт бы побрал меня, старика болвана...

– С вами нельзя говорить по-человечески! – сказала Юлия.

Она порывисто встала из-за стола и ушла к себе, в сильном гневе, вспоминая, как часто отец бывал к ней несправедлив. Но немного погодя ей уже было жаль отца, и когда он уходил в клуб, она проводила его вниз и сама заперла за ним дверь. А на дворе была погода нехорошая, беспокойная; дверь дрожала от напора ветра, и в сенях дуло со всех сторон, так что едва не погасла свеча. У себя наверху Юлия обошла все комнаты и перекрестила все окна и двери; ветер завывал, и казалось, что кто-то ходит по крыше. Никогда еще не было так скучно, никогда она не чувствовала себя такою одинокой.

Она спросила себя: хорошо ли она поступила, что отказала человеку только потому, что ей не нравится его наружность? Правда, это нелюбимый человек и выйти за него значило бы проститься навсегда со своими мечтами, своими понятиями о счастье и супружеской жизни, но встретит ли она когда-нибудь того, о ком мечтала, и полюбит ли? Ей уже 21 год. Женихов в городе нет. Она представила себе всех знакомых мужчин – чиновников, педагогов, офицеров, и одни из них были уже женаты и их семейная жизнь поражала своею пустотой и скукой, другие были неинтересны, бесцветны, неумны, безнравственны. Лаптев же, как бы ни было, москвич, кончил в университете, говорит по-французски; он живет в столице, где много умных, благородных, замечательных людей, где шумно, прекрасные театры, музыкальные вечера, превосходные портнихи, кондитерские... В Священном писании сказано, что жена должна любить своего мужа, и в романах любви придается громадное значение, но нет ли преувеличения в этом? Разве без любви нельзя в семейной жизни? Ведь говорят, что любовь скоро проходит и остается одна привычка и что самая цель семейной жизни не в любви, не в счастье, а в обязанностях, например в воспитании детей, в заботах по хозяйству и проч. Да и Священное писание, быть может, имеет в виду любовь к мужу как к ближнему, уважение к нему, снисхождение.

Ночью Юлия Сергеевна внимательно прочла вечерние молитвы, потом стала на колени и, прижав руки к груди, глядя на огонек лампадки, говорила с чувством:

– Вразуми, заступница! Вразуми, господи!

Ей в своей жизни приходилось встречать пожилых девушек, бедных и ничтожных, которые горько раскаивались и выражали сожаление, что когда-то отказывали своим женихам. Не случится ли с ней то же самое? Не пойти ли ей в монастырь или в сестры милосердия?

Она разделась и легла в постель, крестясь и крестя вокруг себя воздух. Вдруг в коридоре резко и жалобно прозвучал звонок.

– Ах, боже мой! – проговорила она, чувствуя от этого звонка болезненное раздражение во всем теле. Она лежала и все думала о том, как эта провинциальная жизнь бедна событиями, однообразна и в то же время беспокойна. То и дело приходится вздрагивать, чего-нибудь опасаться, сердиться или чувствовать себя виноватой, и нервы в конце концов портятся до такой степени, что страшно бывает выглянуть из-под одеяла.

Через полчаса опять раздался звонок и такой же резкий. Должно быть, прислуга спала и не слышала. Юлия Сергеевна зажгла свечу и, дрожа, досадуя на прислугу, стала одеваться, и когда, одевшись, вышла в коридор, то внизу горничная уже запирала дверь.

– Думала, что барин, а это от больного приезжали, – сказала она.

Юлия Сергеевна вернулась к себе. Она достала из комода колоду карт и решила, что если хорошо стасовать карты и потом снять и если под низом будет красная масть, то это значит *да*, т. е. надо согласиться на предложение Лаптева, если же черная, то *нет*. Карта оказалась пиковою десяткой.

Это ее успокоило, она уснула, но утром опять уже не было ни *да*, ни *нет*, и она думала о том, что может теперь, если захочет, переменить свою жизнь. Мысли утомили ее, она изнемогала и чувствовала себя больной, но все же в начале двенадцатого часа оделась и пошла

проведать Нину Федоровну. Ей хотелось увидеть Лаптева: быть может, теперь он покажется ей лучше; быть может, она ошибалась до сих пор...

Ей трудно было идти против ветра, она едва шла, придерживая обеими руками шляпу, и ничего не видела от пыли.



## IV

Войдя к сестре и увидев неожиданно Юлию Сергеевну, Лаптев опять испытал унижительное состояние человека, который противен. Он заключил, что если она так легко может после вчерашнего бывать у сестры и встречаться с ним, то, значит, она не замечает его или считает полнейшим ничтожеством. Но когда он здоровался с ней, она, бледная, с пылью под глазами, поглядела на него печально и виновато; он понял, что она тоже страдает.

Ей нездоровилось. Посидела она очень недолго, минут десять, и стала прощаться. И, уходя, сказала Лаптеву:

– Проводите меня домой, Алексей Федорыч.

По улице шли они молча, придерживая шляпы, и он, идя сзади, старался заслонить ее от ветра. В переулке было тише, и тут оба пошли рядом.

– Если я вчера была неласкова, то вы простите, – начала она, и голос ее дрогнул, как будто она собиралась заплакать. – Это такое мученье! Я всю ночь не спала.

– А я отлично проспал всю ночь, – сказал Лаптев, не глядя на нее, – но это не значит, что мне хорошо. Жизнь моя разбита, я глубоко несчастлив, и после вчерашнего вашего отказа я хожу точно отравленный. Самое тяжелое было сказано вчера, сегодня с вами я уже не чувствую стеснения и могу говорить прямо. Я люблю вас больше, чем сестру, больше, чем покойную мать... Без сестры и без матери я мог жить и жил, но жить без вас – для меня это бессмыслица, я не могу...

И теперь, как обыкновенно, он угадывал ее намерения. Ему было понятно, что она хочет продолжать вчерашнее и только для этого попросила его проводить ее и теперь вот ведет к себе в дом. Но что она может еще прибавить к своему отказу? Что она придумала нового? По всему, по взглядам, по улыбке и даже по тому, как она, идя с ним рядом, держала голову и плечи, он видел, что она по-прежнему не любит его, что он чужой для нее. Что же она хочет еще сказать?

Доктор Сергей Борисыч был дома.

– Добро пожаловать, весьма рад вас видеть, Федор Алексеич, – сказал он, путая его имя и отчество. – Весьма рад, весьма рад.

Раньше он не бывал так приветлив, и Лаптев заключил, что о предложении его уже известно доктору; и это ему не понравилось. Он сидел теперь в гостиной, и эта комната производила странное впечатление своею бедною, мещанскою обстановкой, своими плохими картинами, и хотя в ней были и кресла, и громадная лампа с абажуром, она все же походила на нежилое помещение, на просторный сарай, и было очевидно, что в этой комнате мог чувствовать себя дома только такой человек, как доктор; другая комната, почти вдвое больше, называлась залой, и тут стояли одни только стулья, как в танцклассе. И Лаптева, пока он сидел в гостиной и говорил с доктором о своей сестре, стало мучить одно подозрение. Не затем ли Юлия Сергеевна была у сестры Нины и потом привела его сюда, чтобы объявить ему, что она принимает его предложение? О, как это ужасно, но ужаснее всего, что его душа доступна для подобных подозрений. Он представлял себе, как вчера вечером и ночью отец и дочь долго советовались, быть может, долго спорили и потом пришли к соглашению, что Юлия поступила легкомысленно, отказавши богатому человеку. В его ушах звучали даже слова, какие в подобных случаях говорят родители:

«Правда, ты не любишь его, но зато, подумай, сколько ты можешь сделать добра!»

Доктор собрался к больным. Лаптев хотел выйти с ним вместе, но Юлия Сергеевна сказала:

– А вы останьтесь, прошу вас.

Она замучилась, пала духом и уверяла себя теперь, что отказывать порядочному, доброму, любящему человеку только потому, что он не нравится, особенно когда с этим заму-

жеством представляется возможность изменить свою жизнь, свою невеселую, монотонную, праздную жизнь, когда молодость уходит и не предвидится в будущем ничего более светлого, отказывать при таких обстоятельствах – это безумие, это каприз и прихоть, и за это может даже наказать бог.

Отец вышел. Когда шаги его затихли, она вдруг остановилась перед Лаптевым и сказала решительно, и при этом страшно побледнела:

– Я вчера долго думала, Алексей Федорыч... Я принимаю ваше предложение.

Он нагнулся и поцеловал ей руку, она неловко поцеловала его холодными губами в голову. Он чувствовал, что в этом любовном объяснении нет главного – ее любви, и есть много лишнего, и ему хотелось закричать, убежать, тотчас же уехать в Москву, но она стояла близко, казалась ему такую прекрасной, и страсть вдруг овладела им, он сообразил, что рассуждать тут уже поздно, обнял ее страстно, прижал к груди и, бормоча какие-то слова, называя ее *ты*, поцеловал ее в шею, потом в щеку, в голову...

Она отошла к окну, боясь этих ласк, и уже оба сожалели, что объяснились, и оба в смущении спрашивали себя: «Зачем это произошло?»

– Если бы вы знали, как я несчастна! – проговорила она, сжимая руки.

– Что с вами? – спросил он, подходя к ней и тоже сжимая руки. – Дорогая моя, ради бога, говорите – что? Но только правду, умоляю вас, только одну правду!

– Не обращайтесь внимания, – сказала она и насильно улыбнулась. – Я обещаю вам, я буду верною, преданною женой... Приходите сегодня вечером.

Сидя потом у сестры и читая исторический роман, он вспоминал все это, и ему было обидно, что на его великолепное, чистое, широкое чувство ответили так мелко; его не любили, но предложение его приняли, вероятно, только потому, что он богат, то есть предпочли в нем то, что сам он ценил в себе меньше всего. Можно допустить, что Юлия, чистая и верующая в бога, ни разу не подумала о деньгах, но ведь она не любила его, не любила, и очевидно, у нее был расчет, хотя, быть может, и не вполне осмысленный, смутный, но все же расчет. Дом доктора был ему противен своею мещанскою обстановкой, сам доктор представлялся жалким, жирным скрягой, каким-то опереточным Гаспаром из «Корневильских колоколов», самое имя Юлия звучало уже вульгарно. Он воображал, как он и его Юлия пойдут под венец, в сущности совершенно незнакомые друг другу, без капли чувства с ее стороны, точно их сваха сосватала, и для него теперь оставалось только одно утешение, такое же банальное, как и самый этот брак, утешение, что он не первый и не последний, что так женятся и выходят замуж тысячи людей и что Юлия со временем, когда покороче узнает его, то, быть может, полюбит.

– Ромео и Юлия! – сказал он, закрывая книгу, и засмеялся. – Я, Нина, Ромео. Можешь меня поздравить, я сегодня сделал предложение Юлии Белавиной.

Нина Федоровна думала, что он шутит, но потом поверила и заплакала. Эта новость ей не понравилась.

– Что ж, поздравляю, – сказала она. – Но почему же это так вдруг?

– Нет, это не вдруг. Это тянется с марта, только ты ничего не замечаешь... Я влюбился еще в марте, когда познакомился с ней вот тут, в твоей комнате.

– А я думала, что ты женишься на какой-нибудь нашей московской, – сказала Нина Федоровна, помолчав. – Девушки из нашего круга будут попроще. Но главное, Алеша, чтобы ты был счастлив, это самое главное. Мой Григорий Николаич не любил меня, и, скрыть нельзя, ты видишь, как мы живем. Конечно, каждая женщина может полюбить тебя за доброту и за ум, но ведь Юличка институтка и дворянка, ей мало ума и доброты. Она молода, а ты сам, Алеша, уже не молод и не красив.

Чтобы смягчить последние слова, она погладила его по щеке и сказала:

– Ты не красив, но ты славенький.

Она разволновалась, так что даже на щеках у нее выступил легкий румянец, и с увлечением говорила о том, будет ли прилично, если она благословит Алешу образом; ведь она старшая сестра и заменяет ему мать; и она все старалась убедить своего печального брата, что надо сыграть свадьбу как следует, торжественно и весело, чтобы не осудили люди.

Затем он стал ходить к Белавиным, как жених, раза по три, по четыре в день, и уже некогда ему было сменять Сашу и читать исторический роман. Юлия принимала его в своих двух комнатах, вдали от гостиной и отцовского кабинета, и они ему очень нравились. Тут были темные стены, в углу стоял киот с образами; пахло хорошими духами и лампадным маслом. Она жила в самых дальних комнатах, кровать и туалет ее были заставлены ширмами и дверцы в книжном шкапу задернуты изнутри зеленою занавеской, и ходила она у себя по коврам, так что совсем не было слышно ее шагов, – и из этого он заключил, что у нее скрытный характер и любит она тихую, покойную, замкнутую жизнь. В доме она была еще на положении несовершеннолетней, у нее не было собственных денег, и, случалось, во время прогулок она конфузилась, что при ней нет ни копейки. На наряды и книги выдавал ей отец понемножку, не больше ста рублей в год. Да и у самого доктора едва ли были деньги, несмотря даже на хорошую практику. Каждый вечер он играл в клубе в карты и всегда проигрывал. Кроме того, он покупал дома в обществе взаимного кредита с переводом долга и отдавал их внаймы; жильцы платили ему неисправно, но он уверял, что эти операции с домами очень выгодны. Свой дом, в котором он жил с дочерью, он заложил и на эти деньги купил пустошь, и уже начал строить на ней большой двухэтажный дом, чтобы заложить его.

Лаптев жил теперь как в тумане, точно это не он был, а его двойник, и делал многое такое, чего бы он не решился сделать прежде. Он раза три ходил с доктором в клуб, ужинал с ним и сам предложил ему денег на постройку; он даже побывал у Панаурова на его другой квартире. Как-то Панауров пригласил его к себе обедать, и Лаптев, не подумав, согласился. Его встретила дама лет 35, высокая и худощавая, с легкою проседью и с черными бровями, по-видимому, не русская. На ее лице лежали белые пятна от пудры, улыбнулась она приторно и пожала руку порывисто, так что зазвенели на белых руках браслеты. Лаптеву казалось, что она улыбается так потому, что хочет скрыть от других и от самой себя, что она несчастна. Увидел он и двух девочек пяти и трех лет, похожих на Сашу. За обедом подавали молочный суп, холодную телятину с морковью и шоколад – это было слащаво и невкусно, но зато на столе блестели золотые вилочки, флаконы с соей и кайенским перцем, необыкновенно вычурный судок, золотая перечница.

Только поевши молочного супу, Лаптев сообразил, как это, в сущности, было некстати, что он пришел сюда обедать. Дама была смущена, все время улыбалась, показывая зубы. Панауров объяснял научно, что такое влюбленность и от чего она происходит.

– Мы тут имеем дело с одним из явлений электричества, – говорил он по-французски, обращаясь к даме. – В коже каждого человека заложены микроскопические железки, которые содержат в себе токи. Если вы встречаетесь с особью, токи которой параллельны вашим, то вот вам и любовь.

Когда Лаптев вернулся домой и сестра спросила, где он был, ему стало неловко и он ничего не ответил.

Все время до свадьбы он чувствовал себя в ложном положении. Любовь его с каждым днем становилась все сильнее, и Юлия казалась ему поэтической и возвышенной, но все же взаимной любви не было, а сущность была та, что он покупал, а она продавалась. Иногда, раздумавшись, он приходил просто в отчаяние и спрашивал себя: не бежать ли? Он уже не спал по целым ночам и все думал о том, как он после свадьбы встретится в Москве с госпожой, которую в своих письмах к друзьям называл «особой», и как его отец и брат, люди тяжелые, отнесутся к его женитьбе и к Юлии. Он боялся, что отец при первой же встрече скажет Юлии какою-нибудь грубость. А с братом Федором в последнее время происходило что-то странное.

Он в своих длинных письмах писал о важности здоровья, о влиянии болезней на психическое состояние, о том, что такое религия, но ни слова о Москве и о делах. Письма эти раздражали Лаптева, и ему казалось, что характер брата меняется к худшему.

Свадьба была в сентябре. Венчание происходило в церкви Петра и Павла, после обедни, и в тот же день молодые уехали в Москву. Когда Лаптев и его жена, в черном платье со шлейфом, уже по виду не девушка, а настоящая дама, прощались с Ниной Федоровной, все лицо у больной покривилось, но из сухих глаз не вытекло ни одной слезы. Она сказала:

– Если, не дай бог, умру, возьмите к себе моих девочек.

– О, обещаю вам! – ответила Юлия Сергеевна, и у нее тоже стали нервно подергиваться губы и веки.

– Я приеду к тебе в октябре, – сказал Лаптев, растроганный. – Выздоровливай, моя дорогая.

Они ехали в отдельном купе. Обоим было грустно и неловко. Она сидела в углу, не снимая шляпы, и делала вид, что дремлет, а он лежал против нее на диване, и его беспокоили разные мысли: об отце, об «особе», о том, понравится ли Юлии его московская квартира. И, поглядывая на жену, которая не любила его, он думал уныло: «Зачем это произошло?»

## V

Лаптевы в Москве вели оптовую торговлю галантерейным товаром: бахромой, тесьмой, аграмантом, вязальной бумагой, пуговицами и проч. Валовая выручка достигала двух миллионов в год; каков же был чистый доход, никто не знал, кроме старика. Сыновья и приказчики определяли этот доход приблизительно в триста тысяч и говорили, что он был бы тысяч на сто больше, если бы старик «не раскидывался», то есть не отпускал в кредит без разбору; за последние десять лет одних безнадежных векселей набралось почти на миллион, и старший приказчик, когда заходила речь об этом, хитро подмигивал глазом и говорил слова, значение которых было не для всех ясно:

– Психологическое последствие века.

Главные торговые операции производились в городских рядах, в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещенную узким окном с железною решеткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с осторожным окном: это – контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и спящих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свертков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свертки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут, в амбаре, каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей.

Когда на другой день по приезде в Москву, в полдень, Лаптев пришел в амбар, то артельщики, запаковывая товар, стучали по ящикам так громко, что в первой комнате и в конторе никто не слышал, как он вошел, по лестнице вниз спускался знакомый почтальон с пачкой писем в руке и морщился от стука, и тоже не заметил его. Первый, кто встретил его наверху, был брат Федор Федорыч, похожий на него до такой степени, что их считали близнецами. Это сходство постоянно напоминало Лаптеву об его собственной наружности, и теперь, видя перед собой человека небольшого роста, с румянцем, с редкими волосами на голове, с худыми, непородистыми бедрами, такого неинтересного и неинтеллигентного на вид, он спросил себя: «Неужели и я такой?»

– Как я рад тебя видеть! – сказал Федор, целуясь с братом и крепко пожимая ему руку. – Я с нетерпением ожидал тебя каждый день, милый мой. Как ты написал, что женишься, меня стало мучить любопытство, да и соскучился, брат. Сам посуди, полгода не видались. Ну, что? Как? Плоха Нина? Очень?

– Очень плоха.

– Божья воля, – вздохнул Федор. – Ну, а жена твоя? Небось красавица? Я ее уже люблю, ведь она приходится мне сестреночкой. Будем ее вместе баловать.

Показалась давно знакомая Лаптеву широкая, сутулая спина его отца, Федора Степаныча. Старик сидел возле прилавка на табурете и разговаривал с покупателем.

– Папаша, бог радость послал! – крикнул Федор. – Брат приехал.

Федор Степаныч был высокого роста и чрезвычайно крепкого сложения, так что, несмотря на свои восемьдесят лет и морщины, все еще имел вид здорового, сильного человека.

Говорил он тяжелым, густым, гудящим басом, который выходил из его широкой груди, как из бочки. Он брил бороду, носил солдатские подстриженные усы и курил сигары. Так как ему всегда казалось жарко, то в амбаре и дома во всякое время года он ходил в просторном парусиновом пиджаке. Ему недавно снимали катаракту, он плохо видел и уже не занимался делом, а только разговаривал и пил чай с вареньем.

Лаптев нагнулся и поцеловал его в руку, потом в губы.

– Давненько не видались, милостивый государь, – сказал старик. – Давненько. Что ж, прикажешь с законным браком поздравить? Ну, изволь, поздравляю.

И он подставил губы для поцелуя. Лаптев нагнулся и поцеловал.

– Что ж, и барышню свою привез? – спросил старик и, не дожидаясь ответа, сказал, обращаясь к покупателю: – Сим извещаю вас, папаша, вступаю я в брак с девицей такой-то. Да. А того, чтоб у папаши попросить благословения и совета, нету в правилах. Теперь они своим умом. Когда я женился, мне больше сорока было, а я в ногах у отца валялся и совета просил. Нынче уже этого нету.

Старик обрадовался сыну, но считал неприличным приласкать его и как-нибудь обнаружить свою радость. Его голос, манера говорить и «барышня» навеяли на Лаптева то дурное настроение, какое он испытывал всякий раз в амбаре. Тут каждая мелочь напоминала ему о прошлом, когда его секли и держали на постной пище; он знал, что и теперь мальчиков секут и до крови разбивают им носы, и что когда эти мальчики вырастут, то сами тоже будут бить. И достаточно ему было пробыть в амбаре минут пять, как ему начало казаться, что его сейчас обругают или ударят по носу.

Федор похлопал покупателя по плечу и сказал брату:

– Вот, Алеша, рекомендую, наш тамбовский кормилец Григорий Тимофеич. Может служить примером для современной молодежи: уже шестой десяток пошел, а он грудных детей имеет.

Приказчики засмеялись, и покупатель, тощий старик с бледным лицом, тоже засмеялся.

– Природа сверх обыкновенного действия, – заметил старший приказчик, стоявший тут же за прилавком. – Куда вошло, оттуда и выйдет.

Старший приказчик, высокий мужчина лет 50, с темною бородой, в очках и с карандашом за ухом, обыкновенно выражал свои мысли неясно, отдаленными намеками, и по его хитрой улыбке видно было при этом, что своим словам он придавал какой-то особенный, тонкий смысл. Свою речь он любил затемнять книжными словами, которые он понимал по-своему, да и многие обыкновенные слова часто употреблял он не в том значении, какое они имеют. Например, слово «кроме». Когда он выражал категорически какую-нибудь мысль и не хотел, чтоб ему противоречили, то протягивал вперед правую руку и произносил:

– Кроме!

И удивительнее всего было то, что его отлично понимали остальные приказчики и покупатели. Звали его Иван Васильевич Початкин, и родом он был из Каширы. Теперь, поздравляя Лаптева, он выразился так:

– С вашей стороны заслуга храбрости, так как женское сердце есть Шамиль.

Другим важным лицом в амбаре был приказчик Макеичев, полный, солидный блондин с лысиной во все темя и с бакенами. Он подошел к Лаптеву и поздравил его почтительно, вполголоса:

– Честь имею-с... Господь услышал молитвы вашего родителя-с. Слава богу-с.

Затем стали подходить другие приказчики и поздравлять с законным браком. Все они были одеты по моде и имели вид вполне порядочных, воспитанных людей. Говорили они на *о, г* произносили как латинское *g*; оттого, что почти через каждые два слова они употребляли *с*, их поздравления, произносимые скороговоркой, например фраза: «желаю вам-с всего хорошего-с» слышалась так, будто кто хлыстом бил по воздуху – «жвыссс».

Лаптеву все это скоро наскучило и захотелось домой, но уйти было неловко. Из приличия нужно было пробыть в амбаре по крайней мере два часа. Он отошел в сторону от прилавка и стал расспрашивать Макеичева, благополучно ли прошло лето и нет ли чего нового, и тот отвечал почтительно, не глядя ему в глаза. Мальчик, стриженный, в серой блузе, подал Лаптеву стакан чаю без блюдечка; немного погодя другой мальчик, проходя мимо, спотыкнулся о ящик и едва не упал, и солидный Макеичев вдруг сделал страшное, злое лицо, лицо изверга, и крикнул на него:

– Ходи ногами!

Приказчики были рады, что молодой хозяин женился и наконец приехал; они поглядывали на него с любопытством и приветливо, и каждый, проходя мимо, считал долгом сказать ему почтительно что-нибудь приятное. Но Лаптев был убежден, что все это неискренно и что ему льстят потому, что боятся его. Он никак не мог забыть, как лет пятнадцать назад один приказчик, заболевший психически, выбежал на улицу в одном нижнем белье, босой и, грозя на хозяйские окна кулаком, кричал, что его замучили; и над беднягой, когда он потом выздоровел, долго смеялись и припоминали ему, как он кричал на хозяев «плантаторы!» – вместо «эксплоататоры». Вообще служащим жилось у Лаптевых очень плохо, и об этом давно уже говорили все ряды. Хуже всего было то, что по отношению к ним старик Федор Степаныч держался какой-то азиатской политики. Так, никому не было известно, сколько жалованья получали его любимцы Початкин и Макеичев; получали они по три тысячи в год вместе с наградами, не больше, он же делал вид, что платит им по семи; награды выдавались каждый год всем приказчикам, но тайно, так что получивший мало должен был из самолюбия говорить, что получил много; ни один мальчик не знал, когда его произведут в приказчики; ни один служащий не знал, доволен им хозяин или нет. Ничто не запрещалось приказчикам прямо, и потому они не знали, что дозволяется и что – нет. Им не запрещалось жениться, но они не женились, боясь не угодить своею женитьбой хозяину и потерять место. Им позволялось иметь знакомых и бывать в гостях, но в девять часов вечера уже запирались ворота и каждое утро хозяин подозрительно оглядывал всех служащих и испытывал, не пахнет ли от кого водкой: «А ну-ка дыхни!»

Каждый праздник служащие обязаны были ходить к ранней обедне и становиться в церкви так, чтобы их всех видел хозяин. Посты строго соблюдались. В торжественные дни, например в именины хозяина или членов его семьи, приказчики должны были по подписке подносить сладкий пирог от Флея или альбом. Жили они в нижнем этаже дома на Пятницкой и во флигеле, помещаясь по трое и четверо в одной комнате, и за обедом ели из общей миски, хотя перед каждым из них стояла тарелка. Если кто из хозяев входил к ним во время обеда, то все они вставали.

Лаптев сознавал, что из них разве одни только испорченные стариковским воспитанием серьезно могли считать его благодетелем, остальные же видели в нем врага и «плантатора». Теперь после полугодичного отсутствия он не видел перемен к лучшему; и было даже еще что-то новое, не предвещавшее ничего хорошего. Брат Федор, бывший раньше тихим, вдумчивым и чрезвычайно деликатным, теперь, с видом очень занятого и делового человека, с карандашом за ухом, бегал по амбару, похлопывал покупателей по плечу и кричал на приказчиков: «Друзья!» По-видимому, он играл какую-то роль, и в этой новой роли Алексей не узнавал его.

Голос старика гудел непрерывно. От нечего делать старик наставлял покупателя, как надо жить и как вести свои дела, и при этом все ставил в пример самого себя. Это хвастовство, этот авторитетный подавляющий тон Лаптев слышал и 10, и 15, и 20 лет назад. Старик обожал себя; из его слов всегда выходило так, что свою покойную жену и ее родню он осчастливил, детей награбил, приказчиков и служащих облагодетельствовал и всю улицу и всех знакомых заставил за себя вечно бога молить; что он ни делал, все это было очень хорошо, а если у людей плохо идут дела, то потому только, что они не хотят посоветоваться с ним; без его совета не может удасться никакое дело. В церкви он всегда становился впереди всех и даже делал замечания

священникам, когда они, по его мнению, не так служили, и думал, что это угодно богу, так как бог его любит.

К двум часам в амбаре все уже были заняты делом, кроме старика, который продолжал гудеть. Лаптев, чтобы не стоять без дела, принял у одной мастерицы аграмант и отпустил ее, потом выслушал покупателя, вологодского купца, и приказал приказчику заняться.

– Твердо, веди, аз! – слышалось со всех сторон (буквами в амбаре означались цены и номера товаров). – Рцы, иже, твердо!

Уходя, Лаптев простился с одним только Федором.

– Я завтра приеду с женой на Пятницкую, – сказал он, – но, предупреждаю, если отец скажет ей хоть одно грубое слово, то я минуты там не останусь.

– А ты все такой же, – вздохнул Федор. – Женился, не переменялся. Надо, брат, снисходить к старику. Итак, значит, завтра часам к одиннадцати. Будем с нетерпением ждать. Так приезжай прямо с обедни.

– Я в обедне не бываю.

– Ну, это все равно. Главное, чтобы не позже одиннадцати, чтоб успеть и богу помолиться, и позавтракать вместе. Кланяйся сестреночке и поцелуй ручку. У меня предчувствие, что я ее полюблю, – добавил Федор вполне искренно. – Завидую, брат! – крикнул он, когда уже Алексей спускался вниз.

«И почему это он все жметя как-то застенчиво, будто кажется ему, что он голый? – думал Лаптев, идя по Никольской и стараясь понять перемену, какая произошла в Федоре. – И язык какой-то новый у него: брат, милый брат, бог милости прислал, богу помолимся, – точно щедринский Иудушка».



## VI

На другой день, в воскресенье, в 11 часов, он уже ехал с женой по Пятницкой, в легкой коляске, на одной лошади. Он боялся со стороны Федора Степаныча какой-нибудь выходки, и уже заранее ему было неприятно. После двух ночей, проведенных в доме мужа, Юлия Сергеевна уже считала свое замужество ошибкой, несчастьем, и если бы ей пришлось жить с мужем не в Москве, а где-нибудь в другом городе, то, казалось ей, она не перенесла бы этого ужаса. Москва же развлекала ее, улицы, дома и церкви нравились ей очень, и если бы можно было ездить по Москве в этих прекрасных санях, на дорогих лошадях, ездить целый день, от утра до вечера, и при очень быстрой езде дышать прохладным осенним воздухом, то, пожалуй, она не чувствовала бы себя такой несчастной.

Около белого, недавно оштукатуренного двухэтажного дома кучер сдержал лошадь и стал поворачивать вправо. Тут уже ждали. Около ворот стояли дворник в новом кафтане, в высоких сапогах и калошах, и двое городских; все пространство с середины улицы до ворот и потом по двору до крыльца было посыпано свежим песком. Дворник снял шапку, городские сделали под козырек. Около крыльца встретил Федор с очень серьезным лицом.

– Очень рад познакомиться, сестреночка, – сказал он, целуя Юлии руку. – Добро пожаловать.

Он повел ее под руку вверх по лестнице, потом по коридору сквозь толпу каких-то мужчин и женщин. В передней тоже было тесно, пахло ладаном.

– Я представлю вас сейчас нашему батюшке, – прошептал Федор среди гробовой торжественной тишины. – Почтенный старичок, *pater familias*<sup>1</sup>.

В большой зале около стола, приготовленного для молебна, стояли, очевидно, в ожиданий, Федор Степаныч, священник в камилавке и дьякон. Старик подал Юлии руку и не сказал ни слова. Все молчали. Юлия сконфузилась.

Священник и дьякон начали облачаться. Принесли кадило, из которого сыпались искры и шел запах ладана и угля. Зажгли свечи. Приказчики вошли в залу на цыпочках и стали у стены в два ряда. Было тихо, даже никто не кашлянул.

– Благослови, владыко, – начал дьякон.

Молебен служили торжественно, ничего не пропуская, и читали два акафиста: Иисусу сладчайшему и пресвятой богородице. Певчие пели только нотное, очень долго. Лаптев заметил, как давеча сконфузилась его жена; пока читались акафисты и певчие на разные лады выводили тройное «господи помилуй», он с душевным напряжением ожидал, что вот-вот старик оглянется и сделает какое-нибудь замечание, вроде «вы не умеете креститься»; и ему было досадно: к чему эта толпа, к чему вся эта церемония с попами и певчими. Это было слишком по-купечески. Но когда она вместе со стариком подставила голову под евангелие и потом несколько раз опускала на колени, он понял, что ей все это нравится, и успокоился.

В конце молебна, во время многолетия, священник дал приложиться к кресту старику и Алексею, но когда подошла Юлия Сергеевна, он прикрыл крест рукой и сделал вид, что желает говорить. Замахали певчим, чтобы те замолчали.

– Пророк Самуил, – начал священник, – пришел в Вифлеем по повелению господню, и тут городские старейшины вопрошали его с трепетом: «мир ли вход твой, о прозорливче?» И рече пророк: «мир, пожрети бо господу приидох, освятитесь и возвеселитесь днесье со мною». Станем ли и мы, раба божия Юлия, вопрошать тебя о мире твоего пришествия в дом сей?..

Юлия раскраснелась от волнения. Кончив, священник дал ей приложиться ко кресту и сказал уже совсем другим тоном:

---

<sup>1</sup> Отец семейства (*лат.*).

– Теперь Федора Федорыча надо женить. Пора.

Опять запели певчие, народ задвигался, и стало шумно. Растроганный старик, с глазами, полными слез, три раза поцеловал Юлию, перекрестил ей лицо и сказал:

– Это ваш дом. Мне, старику, ничего не нужно.

Приказчики поздравляли и говорили что-то, но певчие пели так громко, что ничего нельзя было расслышать. Потом завтракали и пили шампанское. Она сидела рядом со стариком, и он говорил ей о том, что нехорошо жить врозь, надо жить вместе, в одном доме, а разделы и несогласия ведут к разорению.

– Я наживал, а дети только проживают, – говорил он. – Теперь вы живите со мной в одном доме и наживайте. Мне, старику, пора и отдохнуть.

Перед глазами у Юлии все время мелькал Федор, очень похожий на мужа, но более подвижной и более застенчивый; он суетился возле и часто целовал ей руку.

– Мы, сестреночка, люди простые, – говорил он, и при этом красные пятна выступали у него на лице. – Мы живем просто, по-русски, по-христиански, сестреночка.

Когда возвращались домой, Лаптев, очень довольный, что все обошлось благополучно и сверх ожидания не произошло ничего особенного, говорил жене:

– Ты удивляешься, что у крупного, широкоплечего отца такие малорослые, слабогрудые дети, как я и Федор. Да, но это так понятно! Отец женился на моей матери, когда ему было 45 лет, а ей только 17. Она бледнела и дрожала в его присутствии. Нина родилась первая, родилась от сравнительно здоровой матери, и потому вышла крепче и лучше нас; я же и Федор были зачаты и рождены, когда мать была уже истощена постоянным страхом. Я помню, отец начал учить меня или, попросту говоря, бить, когда мне не было еще пяти лет. Он сек меня розгами, драл за уши, бил по голове, и я, просыпаясь, каждое утро думал прежде всего: будут ли сегодня драть меня? Играть и шалить мне и Федору запрещалось; мы должны были ходить к утрени и к ранней обедне, целовать попам и монахам руки, читать дома акафисты. Ты вот религиозна и все это любишь, а я боюсь религии, и когда прохожу мимо церкви, то мне припоминается мое детство и становится жутко. Когда мне было восемь лет, меня уже взяли в амбар; я работал, как простой мальчик, и это было нездорово, потому что меня тут били почти каждый день. Потом, когда меня отдали в гимназию, я до обеда учился, а от обеда до вечера должен был сидеть все в том же амбаре, и так до 22 лет, пока я не познакомился в университете с Ярцевым, который убедил меня уйти из отцовского дома. Этот Ярцев сделал мне много добра. Знаешь что, – сказал Лаптев и засмеялся от удовольствия, – давай поедem сейчас с визитом к Ярцеву. Это благороднейший человек! Как он будет тронут!

## VII

В одну из ноябрьских суббот в симфоническом дирижировал Антон Рубинштейн. Было очень тесно и жарко. Лаптев стоял за колоннами, а его жена и Костя Кочевой сидели далеко впереди, в третьем или четвертом ряду. В самом начале антракта мимо него совершенно неожиданно прошла «особа», Полина Николаевна Рассудина. После свадьбы он часто с тревогой помышлял о возможной встрече с ней. Когда она теперь взглянула на него открыто и прямо, он вспомнил, что до сих пор еще не собрался объясниться с ней или написать по-дружески хотя две-три строчки, точно прятался от нее; ему стало стыдно, и он покраснел. Она крепко и порывисто пожала ему руку и спросила:

– Вы Ярцева видели?

И, не дожидаясь ответа, пошла дальше стремительно, широко шагая, будто кто толкал ее сзади.

Она была очень худа и некрасива, с длинным носом, и лицо у нее всегда было утомленное, замученное, и казалось, что ей стоило больших усилий, чтобы держать глаза открытыми и не упасть. У нее были прекрасные темные глаза и умное, доброе, искреннее выражение, но движения угловатые, резкие. Говорить с ней было нелегко, так как она не умела слушать и говорить покойно. Любить же ее было тяжело. Бывало, оставаясь с Лаптевым, она долго хохотала, закрыв лицо руками, и уверяла, что любовь для нее не составляет главного в жизни, жеманилась, как семнадцатилетняя девушка, прежде чем поцеловаться с ней, нужно было тушить все свечи. Ей было уже 30 лет. Она была замужем за педагогом, но давно уже не жила с мужем. Средства к жизни добывала уроками музыки и участием в квартетах.

Во время Девятой симфонии она опять прошла мимо, как бы нечаянно, но толпа мужчин, стоявшая густою стеной за колоннами, не пустила ее дальше, и она остановилась. Лаптев увидел на ней ту же самую бархатную кофточку, в которой она ходила на концерты в прошлом и третьем году. Перчатки у нее были новые, веер тоже новый, но дешевый. Она любила наряжаться, но не умела и жалела на это деньги, и одевалась дурно и неряшливо, так что на улице обыкновенно, когда она, торопливо и широко шагая, шла на урок, ее легко можно было принять за молодого послушника.

Публика аплодировала и кричала *bis*.

– Вы проведете сегодня вечер со мной, – сказала Полина Николаевна, подходя к Лаптеву и глядя на него сурово. – Мы отсюда поедем вместе чай пить. Слышите? Я этого требую. Вы мне многим обязаны и не имеете нравственного права отказать мне в этом пустяке.

– Хорошо, поедемте, – согласился Лаптев.

После симфонии начались нескончаемые вызовы. Публика вставала с мест и выходила чрезвычайно медленно, а Лаптев не мог уехать, не сказавши жене. Надо было стоять у двери и ждать.

– Мучительно хочу чаю, – пожаловалась Рассудина. – Душа горит.

– Здесь можно напиться, – сказал Лаптев. – Пойдемте в буфет.

– Ну, у меня нет денег, чтобы бросать буфетчику. Я не купчишка.

Он предложил ей руку, она отказалась, проговорив длинную, утомительную фразу, которую он слышал от нее уже много раз, именно, что она не причисляет себя к слабому прекрасному полу и не нуждается в услугах господ мужчин.

Разговаривая с ним, она оглядывала публику и часто здоровалась со знакомыми; это были ее товарки по курсам Герье и по консерватории, и ученики, и ученицы. Она пожимала им руки крепко и порывисто, будто дергала. Но вот она стала поводить плечами, как в лихорадке, и дрожать и наконец проговорила тихо, глядя на Лаптева с ужасом:

– На ком вы женились? Где у вас были глаза, сумасшедший вы человек? Что вы нашли в этой глупой, ничтожной девчонке? Ведь я вас любила за ум, за душу, а этой фарфоровой кукле нужны только ваши деньги!

– Оставим это, Полина, – сказал он умоляющим голосом. – Все, что вы можете сказать мне по поводу моей женитьбы, я сам уже говорил себе много раз... Не причиняйте мне лишней боли.

Показалась Юлия Сергеевна в черном платье и с большою брильянтовой брошью, которую прислал ей свекор после молебна; за нею шла ее свита: Кочевой, два знакомых доктора, офицер и полный молодой человек в студенческой форме, по фамилии Киш.

– Поезжай с Костей, – сказал Лаптев жене. – А я приеду после.

Юлия кивнула головой и прошла дальше. Полина Николаевна проводила ее взглядом, дрожа всем телом и нервно пожимаясь, и этот взгляд ее был полон отвращения, ненависти и боли.

Лаптев боялся ехать к ней, предчувствуя неприятное объяснение, резкости и слезы, и предложил отправиться пить чай в какой-нибудь ресторан. Но она сказала:

– Нет, нет, поедemте ко мне. Не смейте говорить мне о ресторанах.

Она не любила бывать в ресторанах, потому что ресторанный воздух казался ей отравленным табаком и дыханием мужчин. Ко всем незнакомым мужчинам она относилась с странным предубеждением, считала их всех развратниками, способными броситься на нее каждую минуту. Кроме того, ее раздражала до головной боли трактирная музыка.

Выйдя из Благородного Собрания, наняли извозчика на Остоженку, в Савеловский переулок, где жила Рассудина. Лаптев всю дорогу думал о ней. В самом деле, он был ей многим обязан. Познакомился он с нею у своего друга Ярцева, которому она преподавала теорию музыки. Она полюбила его сильно, совершенно бескорыстно и, сойдясь с ним, продолжала ходить на уроки и трудиться по-прежнему до изнеможения. Благодаря ей он стал понимать и любить музыку, к которой раньше был почти равнодушен.

– Полцарства за стакан чаю! – проговорила она глухим голосом, закрывая рот муфтой, чтобы не простудиться. – Я была на пяти уроках, чтобы их черт взял! Ученики такие тупицы, такие толкачи, я чуть не умерла от злости. И не знаю, когда кончится эта каторга. Замучилась. Как только скоплю триста рублей, брошу все и поеду в Крым. лягу на берегу и буду глотать кислород. Как я люблю море, ах, как я люблю море!

– Никуда вы не поедете, – сказал Лаптев. – Во-первых, вы ничего не скопите, и, во-вторых, вы скупы. Простите, я опять повторю: неужели собрать эти триста рублей по грошам у праздных людей, которые учатся у вас музыке от нечего делать, менее унижительно, чем взять их взаймы у ваших друзей?

– У меня нет друзей! – сказала она раздраженно. – И прошу вас не говорить глупостей. У рабочего класса, к которому я принадлежу, есть одна привилегия: сознание своей неподкупности, право не одолжаться у купчишек и презирать. Нет-с, меня не купите! Я не Юличка!

Лаптев не стал платить извозчику, зная, что это вызовет целый поток слов, много раз уже слышанных раньше. Заплатила она сама.

Она нанимала маленькую комнату с мебелью и со столом в квартире одинокой дамы. Ее большой беккеровский рояль стоял пока у Ярцева, на Большой Никитской, и она каждый день ходила туда играть. В ее комнате были кресла в чехлах, кровать с белым летним одеялом и хозяйские цветы, на стенах висели олеографии, и не было ничего, что напоминало бы о том, что здесь живет женщина и бывшая курсистка. Не было ни туалета, ни книг, ни даже письменного стола. Видно было, что она ложилась спать, как только приходила домой, и, вставая утром, тотчас же уходила из дому.

Кухарка принесла самовар. Полина Николаевна заварила чай и, все еще дрожа, – в комнате было холодно, – стала бранить певцов, которые пели в Девятой симфонии. У нее закрылись глаза от утомления. Она выпила один стакан, потом другой, потом третий.

– Итак, вы женаты, – сказала она. – Но не беспокойтесь, я киснуть не буду, я сумею вырвать вас из своего сердца. Досадно только и горько, что вы такая же дрянь, как все, что вам в женщине нужны не ум, не интеллект, а тело, красота, молодость... Молодость! – проговорила она в нос, как будто передразнивая кого-то, и засмеялась. – Молодость! Вам нужна чистота, Reinheit!<sup>2</sup> Reinheit! – захохотала она, откидываясь на спинку кресла. – Reinheit!

Когда она кончила хохотать, глаза у нее были заплаканные.

– Вы счастливы, по крайней мере? – спросила она.

– Нет.

– Она вас любит?

– Нет.

Лаптев, взволнованный, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить по комнате.

– Нет, – повторил он. – Я, Полина, если хотите знать, очень несчастлив. Что делать? Сделал глупость, теперь уже не поправишь. Надо философски относиться. Она вышла без любви, глупо, быть может, и по расчету, но не рассуждая, и теперь, очевидно, сознает свою ошибку и страдает. Я вижу. Ночью мы спим, но днем она боится остаться со мной наедине хотя бы пять минут и ищет развлечений, общества. Ей со мной стыдно и страшно.

– А деньги все-таки берет у вас?

– Глупо, Полина! – крикнул Лаптев. – Она берет у меня деньги потому, что для нее решительно все равно, есть они у нее или нет. Она честный, чистый человек. Вышла она за меня просто потому, что ей хотелось уйти от отца, вот и все.

– А вы уверены, что она вышла бы за вас, если бы вы не были богаты? – спросила Рассудина.

– Ни в чем я не уверен, – сказал с тоской Лаптев. – Ни в чем. Я ничего не понимаю. Ради бога, Полина, не будем говорить об этом.

– Вы ее любите?

– Безумно.

Затем наступило молчание. Она пила четвертый стакан, а он ходил и думал о том, что жена теперь, вероятно, в докторском клубе, ужинает.

– Но разве можно любить, не зная, за что? – спросила Рассудина и пожала плечами. – Нет, в вас говорит животная страсть! Вы опьянены! Вы отравлены этим красивым телом, этой Reinheit! Уйдите от меня, вы грязны! Ступайте к ней!

Она махнула ему рукой, потом взяла его шапку и швырнула в него. Он молча надел шубу и вышел, но она побежала в сени и судорожно вцепилась ему в руку около плеча и зарыдала.

– Перестаньте, Полина! Полно! – говорил он и никак не мог разжать ее пальцев. – Успокойтесь, прошу вас!

Она закрыла глаза и побледнела, и длинный нос ее стал неприятного воскового цвета, как у мертвой, и Лаптев все еще не мог разжать ее пальцев. Она была в обмороке. Он осторожно поднял ее и положил на постель и просидел возле нее минут десять, пока она очнулась. Руки у нее были холодные, пульс слабый, с перебойями.

– Уходите домой, – сказала она, открывая глаза. – Уходите, а то я опять зареву. Надо взять себя в руки.

Выйдя от нее, он отправился не в докторский клуб, где ожидала его компания, а домой. Всю дорогу он спрашивал себя с упреком: почему он устроил себе семью не с этою женщиной, которая его так любит и была уже на самом деле его женой и подругой? Это был единствен-

---

<sup>2</sup> Чистота, невинность (нем.).

ный человек, который был к нему привязан, и разве, кроме того, не было бы благодарною, достойною задачей дать счастье, приют и покой этому умному, гордому и замученному трудом существу? К лицу ли ему, спрашивал он себя, эти претензии на красоту, молодость, на то самое счастье, которого не может быть и которое, точно в наказание или насмешку, вот уже три месяца держит его в мрачном, угнетенном состоянии? Медовый месяц давно прошел, а он, смешно сказать, еще не знает, что за человек его жена. Своим институтским подругам и отцу она пишет длинные письма на пяти листах, и находит же, о чем писать, а с ним говорит только о погоде и о том, что пора обедать или ужинать. Когда она перед сном долго молится богу и потом целует свои крестики и образки, он, глядя на нее, думает с ненавистью: «Вот она молится, но о чем молится? О чем?» Он в мыслях оскорблял ее и себя, говоря, что, ложась с ней спать и принимая ее в свои объятия, он берет то, за что платит, но это выходило ужасно; будь это здоровая, смелая, грешная женщина, но ведь тут молодость, религиозность, кротость, невинные, чистые глаза... Когда она была его невестой, ее религиозность трогала его, теперь же эта условная определенность взглядов и убеждений представлялась ему заставой, из-за которой не видно было настоящей правды. В его семейной жизни уже все было мучительно. Когда жена, сидя с ним рядом в театре, вздыхала или искренно хохотала, ему было горько, что она наслаждается одна и не хочет поделиться с ним своим восторгом. И замечательно, она подружилась со всеми его приятелями, и все они уже знали, что она за человек, а он ничего не знал, а только хандрил и молча ревновал.

Придя домой, Лаптев надел халат и туфли и сел у себя в кабинете читать роман. Жены дома не было. Но прошло не больше получаса, как в передней позвонили и глухо раздались шаги Петра, побежавшего отворять. Это была Юлия. Она вошла в кабинет в шубке, с красными от мороза щеками.

– На Пресне большой пожар, – проговорила она, запыхавшись. – Громадное зарево. Я поеду туда с Константином Иванычем.

– С богом!

Вид здоровья, свежести и детского страха в глазах успокоил Лаптева. Он почитал еще с полчаса и пошел спать.

На другой день Полина Николаевна прислала ему в амбар две книги, которые когда-то брала у него, все его письма и его фотографии; при этом была записка, состоявшая только из одного слова: «Баста!»

## VIII

Уже в конце октября у Нины Федоровны ясно определился рецидив. Она быстро худела и изменялась в лице. Несмотря на сильные боли, она воображала, что уже выздоравливает, и каждое утро одевалась, как здоровая, и потом целый день лежала в постели одетая. И под конец она стала очень разговорчива. Лежит на спине и рассказывает что-нибудь тихо, через силу, тяжело дыша. Умерла она внезапно и при следующих обстоятельствах.

Был лунный, ясный вечер, на улице катались по свежему снегу, и в комнату с улицы доносился шум. Нина Федоровна лежала в постели на спине, а Саша, которую уже некому было сменить, сидела возле и дремала.

– Отчества его не помню, – рассказывала Нина Федоровна тихо, – а звали его Иван, по фамилии Кочевой, бедный чиновник. Пьяница был горький, царство небесное. Ходил он к нам, и каждый месяц мы выдавали ему по фунту сахару и по осьмушке чаю. Ну, случалось, и деньгами, конечно. Да... Затем такое происшествие: запил шибко наш Кочевой и помер, от водки сгорел. Остался после него сынишка, мальчоночек лет семи. Сироточка... Взяли мы его и спрятали у приказчиков, и жил он так цельный год, и папаша не знал. А как увидел папаша, только рукой махнул и ничего не сказал. Когда Косте, сиротке-то, пошел девятый годок, – а я в ту пору уже невестой была, – повезла я его по всем гимназиям. Туда-сюда, нигде не принимают. А он плачет... «Что же ты, – говорю, – дурачок, плачешь?» Повезла я его на Разгуляй во вторую гимназию и там, дай бог здоровья, приняли... И стал мальчишечка ходить каждый день пешком с Пятницкой на Разгуляй да с Разгуляя на Пятницкую... Алеша за него платил... Милости господни, стал мальчик хорошо учиться, вникать и вышел из него толк... Адвокатом теперь в Москве, Алешин друг, такой же высокой науки. Вот не пренебрегли человеком, приняли его в дом, и теперь он за нас небось бога молит... Да...

Нина Федоровна стала говорить все тише, с долгими паузами, потом, помолчав немного, вдруг поднялась и села.

– А мне не того... нехорошо как будто, – сказала она. – Господи помилуй. Ой, дышать не могу!

Саша знала, что мать должна скоро умереть; увидев теперь, как вдруг осунулось ее лицо, она угадала, что это конец, и испугалась.

– Мамочка, это не надо! – зарыдала она. – Это не надо!

– Сбегай в кухню, пусть за отцом сходят. Мне очень даже нехорошо.

Саша бегала по всем комнатам и звала, но во всем доме не было никого из прислуги, и только в столовой на сундуке спала Лида в одеже и без подушки. Саша, как была, без калош выбежала на двор, потом на улицу. За воротами на лавочке сидела няня и смотрела на катанье. С реки, где был каток, доносились звуки военной музыки.

– Няня, мама умирает! – сказала Саша, рыдая. – Надо сходить за папой!..

Няня пошла вверх в спальню и, взглянув на больную, сунула ей в руки зажженную восковую свечу. Саша в ужасе суежилась и умоляла, сама не зная кого, сходить за папой, потом надела пальто и платок и выбежала на улицу. От прислуги она знала, что у отца есть еще другая жена и две девочки, с которыми он живет на Базарной. Она побежала влево от ворот, плача и боясь чужих людей, и скоро стала грузнуть в снегу и зябнуть.

Встретился ей извозчик порожем, но она не наняла его: пожалуй, завезет ее за город, ограбит и бросит на кладбище (за чаем рассказывала прислуга: был такой случай). Она все шла и шла, задыхаясь от утомления и рыдая. Выйдя на Базарную, она спросила, где здесь живет господин Панауров. Какая-то незнакомая женщина долго объясняла ей и, видя, что она ничего не понимает, привела ее за руку к одноэтажному дому с подъездом. Дверь была не заперта. Саша пробежала через сени, потом коридор и наконец очутилась в светлой, теплой комнате,

где за самоваром сидел отец и с ним дама и две девочки. Но уж она не могла выговорить ни одного слова и только рыдала. Панауров понял.

– Вероятно, маме нехорошо? – спросил он. – Скажи, девочка: маме нехорошо?

Он встревожился и послал за извозчиком.

Когда приехали домой, Нина Федоровна сидела обложенная подушками, со свечой в руке. Лицо потемнело, и глаза были уже закрыты. В спальне стояли, столпившись у двери, няня, кухарка, горничная, мужик Прокофий и еще какие-то незнакомые простые люди. Няня что-то приказывала шепотом, и ее не понимали. В глубине комнаты у окна стояла Лида, бледная, заспанная, и сурово глядела оттуда на мать.

Панауров взял у Нины Федоровны из рук свечу и, брезгливо морщась, швырнул на комод.

– Это ужасно! – проговорил он, и плечи у него вздрогнули. – Нина, тебе лечь нужно, – сказал он ласково. – Ложись, милая.

Она взглянула и не узнала его... Ее положили на спину.

Когда пришли священник и доктор Сергей Борисыч, прислуга уже набожно крестилась и поминала ее.

– Вот она какова история! – сказал доктор в раздумье, выходя в гостиную. – А ведь еще молода, ей и сорока не было.

Слышались громкие рыдания девочек. Панауров, бледный, с влажными глазами, подошел к доктору и сказал слабым, томным голосом:

– Дорогой мой, окажите услугу, пошлите в Москву телеграмму. Я решительно не в силах.

Доктор добыл чернил и написал дочери такую телеграмму: «Панаурова скончалась восемь вечера. Скажи мужу: на Дворянской продается дом переводом долга, доплатить девять. Торги двенадцатого. Советую не упустить».



## IX

Лаптев жил в одном из переулков Малой Дмитровки, недалеко от Старого Пимена. Кроме большого дома на улицу, он нанимал также еще двухэтажный флигель во дворе для своего друга Кочевого, помощника присяжного поверенного, которого все Лаптевы звали просто Костей, так как он вырос на их глазах. Против этого флигеля стоял другой, тоже двухэтажный, в котором жило какое-то французское семейство, состоявшее из мужа, жены и пяти дочерей.

Был мороз градусов в двадцать. Окна заиндевели. Проснувшись утром, Костя с озабоченным лицом принял пятнадцать капель какого-то лекарства, потом, доставши из книжного шкапа две гири, занялся гимнастикой. Он был высок, очень худ, с большими рыжеватыми усами; но самое заметное в его наружности – это были его необыкновенно длинные ноги.

Петр, мужик средних лет, в пиджаке и в ситцевых брюках, засунутых в высокие сапоги, принес самовар и заварил чай.

– Очень нынче хорошая погода, Константин Иванович, – сказал он.

– Да, хорошая, только вот, брат, жаль, живется нам с тобой не ахти как.

Петр вздохнул из вежливости.

– Что девочки? – спросил Кочевой.

– Батюшка не пришли, Алексей Федорыч сами с ними занимаются.

Костя нашел на окне необледеное местечко и стал смотреть в бинокль, направляя его на окно, где жило французское семейство.

– Не видать, – сказал он.

В это время внизу Алексей Федорыч занимался по закону божию с Сашей и Лидой. Вот уже полтора месяца, как они жили в Москве, в нижнем этаже флигеля, вместе со своею гувернанткой, и к ним приходили три раза в неделю учитель городского училища и священник. Саша проходила Новый Завет, а Лида недавно начала Ветхий. В последний раз Лиде было задано повторить до Авраама.

– Итак, у Адама и Евы было два сына, – сказал Лаптев. – Прекрасно. Но как их звали? Припомни-ка!

Лида, по-прежнему суровая, молчала, глядя на стол, и только шевелила губами; а старшая, Саша, смотрела ей в лицо и мучилась.

– Ты прекрасно знаешь, не нужно только волноваться, – сказал Лаптев. – Ну, как же звать сыновей Адама?

– Авель и Кавель, – прошептала Лида.

– Каин и Авель, – поправил Лаптев.

По щеке у Лиды поползла крупная слеза и капнула на книжку. Саша тоже опустила глаза и покраснела, готовая заплакать. Лаптев от жалости не мог уже говорить, слезы подступили у него к горлу; он встал из-за стола и закурил папироску. В это время сошел сверху Кочевой с газетой в руках. Девочки поднялись и, не глядя на него, сделали реверанс.

– Бога ради, Костя, займитесь вы с ними, – обратился к нему Лаптев. – Я боюсь, что сам заплачу, и мне нужно до обеда в амбар съездить.

– Ладно.

Алексей Федорыч ушел. Костя с очень серьезным лицом, нахмурился, сел за стол и потянул к себе Священную историю.

– Ну-с? – спросил он. – О чем вы тут?

– Она знает о потопе, – сказала Саша.

– О потопе? Ладно, будем жарить о потопе. Валяй о потопе. – Костя пробежал в книжке краткое описание потопы и сказал: – Должен я вам заметить, такого потопы, как здесь описано, на самом деле не было. И никакого Ноя не было. За несколько тысяч лет до Рождества Хри-

стова было на земле необыкновенное наводнение, и об этом упоминается не в одной еврейской Библии, но также в книгах других древних народов, как-то: греков, халдеев, индусов. Но какое бы ни было наводнение, оно не могло затопить всей земли. Ну, равнины залило, а горы-то небожь остались. Вы эту книжку читать-то читайте, да не особенно верьте.

У Лиды опять потекли слезы, она отвернулась и вдруг зарыдала так громко, что Костя вздрогнул и поднялся с места в сильном смущении.

– Я хочу домой, – проговорила она. – К папе и к няне.

Саша тоже заплакала. Костя ушел к себе наверх и сказал в телефон Юлии Сергеевне:

– Голубушка, девочки опять плачут. Нет никакой возможности.

Юлия Сергеевна прибежала из большого дома в одном платье и вязаном платке, прохваченная морозом, и начала утешать девочек.

– Верьте мне, верьте, – говорила она умоляющим голосом, прижимая к себе то одну, то другую, – ваш папа придет сегодня, он прислал телеграмму. Жаль мамы, и мне жаль, сердце разрывается, но что же делать? Ведь не пойдешь против бога!

Когда они перестали плакать, она укутала их и повезла кататься. Сначала проехали по Малой Дмитровке, потом мимо Страстного на Тверскую; около Иверской остановились, поставили по свече и помолились, стоя на коленях. На обратном пути заехали к Филиппову и взяли постных баранок с маком.

Обедали Лаптевы в третьем часу. Кушанья подавал Петр. Этот Петр днем бегал то в почтамт, то в амбар, то в окружной суд для Кости, прислуживал; по вечерам он набивал папиросы, ночью бегал отворять дверь и в пятом часу утра уже топил печи, и никто не знал, когда он спит. Он очень любил откупоривать сельтерскую воду и делал это легко, бесшумно, не пролив ни одной капли.

– Дай бог! – сказал Костя, выпивая перед супом рюмку водки.

В первое время Костя не нравился Юлии Сергеевне; его бас, его словечки вроде выставил, заехал в харю, мразь, изобрази самоварчик, его привычка чокаться и причитывать за рюмкой казались ей тривиальными. Но, узнавши его покороше, она стала чувствовать себя в его присутствии очень легко. Он был с нею откровенен, любил по вечерам поговорить с нею вполголоса о чем-нибудь и даже давал ей читать романы своего сочинения, которые до сих пор составляли тайну даже для таких его друзей, как Лаптев и Ярцев. Она читала эти романы и, чтобы не огорчить его, хвалила, и он был рад, так как надеялся стать рано или поздно известным писателем. В своих романах он описывал только деревню и помещичьи усадьбы, хотя деревню видел очень редко, только когда бывал у знакомых на даче, а в помещичьей усадьбе был раз в жизни, когда ездил в Волоколамск по судебному делу. Любовного элемента он избегал, будто стыдился, природу описывал часто и при этом любил употреблять такие выражения, как прихотливые очертания гор, причудливые формы облаков или аккорд таинственных созвучий... Романов его нигде не печатали, и это объяснял он цензурными условиями.

Адвокатская деятельность нравилась ему, но все же главным своим занятием считал он не адвокатуру, а эти романы. Ему казалось, что у него тонкая, артистическая организация, и его всегда тянуло к искусству. Сам он не пел и не играл ни на каком инструменте и совершенно был лишен музыкального слуха, но посещал все симфонические и филармонические собрания, устраивал концерты с благотворительной целью, знакомился с певцами...

Во время обеда разговаривали.

– Удивительное дело, – сказал Лаптев, – опять меня поставил в тупик мой Федор! Надо, говорит, узнать, когда исполнится столетие нашей фирмы, чтобы хлопотать о дворянстве, и говорит это самым серьезным образом. Что с ним поделалось? Откровенно говоря, я начинаю беспокоиться.

Говорили о Федоре, о том, что теперь мода напускать на себя что-нибудь. Например, Федор старается казаться простым купцом, хотя он уже не купец, и когда приходит к нему

за жалованьем учитель из школы, где старик Лаптев попечителем, то он даже меняет голос и походку и держится с учителем как начальник.

После обеда нечего было делать, пошли в кабинет. Говорили о декадентах, об «Орлеанской девице», и Костя прочел целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой. Потом сели играть в винт. Девочки не уходили к себе во флигель, а бледные, печальные сидели, обе в одном кресле, и прислушивались к шуму на улице: не отец ли едет? По вечерам, в темноте и при свечах, они испытывали тоску. Разговор за винтом, шаги Петра, треск в камине раздражали их, и не хотелось смотреть на огонь; по вечерам и плакать уже не хотелось, но было жутко и давило под сердцем. И было непонятно, как это можно говорить о чем-нибудь и смеяться, когда умерла мама.

– Что вы сегодня видели в бинокль? – спросила Юлия Сергеевна у Кости.

– Сегодня ничего, а вчера сам старик француз ванну принимал.

В семь часов Юлия Сергеевна и Костя уехали в Малый театр. Лаптев остался с девочками.

– А пора бы уже вашему папе приехать, – говорил он, посматривая на часы. – Должно быть, поезд опоздал.

Девочки сидели в кресле, молча, прижавшись друг к другу, как зверки, которым холодно, а он все ходил по комнатам и с нетерпением посматривал на часы. В доме было тихо. Но вот уже в конце девятого часа кто-то позвонил. Петр пошел отворять.

Услышав знакомый голос, девочки вскрикнули, зарыдали и бросились в переднюю. Панаров был в роскошной дохе, и борода и усы у него побелели от мороза.

– Сейчас, сейчас, – бормотал он, а Саша и Лида, рыдая и смеясь, целовали ему холодные руки, шапку, доху. Красивый, томный, избалованный любовью, он не спеша приласкал девочек, потом вошел в кабинет и сказал, потирая руки:

– А я к вам ненадолго, друзья мои. Завтра уезжаю в Петербург. Мне обещают перевод в другой город.

Остановился он в «Дрездене».

## Х

У Лаптевых часто бывал Ярцев, Иван Гаврилыч. Это был здоровый, крепкий человек, черноволосый, с умным, приятным лицом; его считали красивым, но в последнее время он стал полнеть, и это портило его лицо и фигуру; портило его и то, что он стриг волосы низко, почти догола. В университете когда-то, благодаря его хорошему росту и силе, студенты называли его вышибалой.

Он вместе с братьями Лаптевыми кончил на филологическом факультете, потом поступил на естественный и теперь был магистром химии. На кафедре он не рассчитывал и нигде не был даже лаборантом, а преподавал физику и естественную историю в реальном училище и в двух женских гимназиях. От своих учеников, а особенно учениц, он был в восторге и говорил, что подрастает теперь замечательное поколение. Кроме химии, он занимался еще у себя дома социологией и русской историей и свои небольшие заметки иногда печатал в газетах и журналах, подписываясь буквой Я. Когда он говорил о чем-нибудь из ботаники или зоологии, то походил на историка, когда же решал какой-нибудь исторический вопрос, то походил на естествовед.

Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года. Отец его, провинциальный аптекарь, присылал ему по сорока рублей в месяц, и еще мать, тайно от отца, по десяти, и этих денег ему хватало на прожитие и даже на такую роскошь, как шинель с польским бобром, перчатки, духи и фотография (он часто снимался и раздавал свои портреты знакомым). Чистенький, немножко плешивый, с золотистыми бачками около ушей, скромный, он всегда имел вид человека, готового услужить. Он все хлопотал по чужим делам: то носился с подписным листом, то с раннего утра мерз около театральной кассы, чтобы купить для знакомой дамы билет, то по чьему-нибудь поручению шел заказывать венок или букет. Про него только и говорили: Киш ходит, Киш делает, Киш купит. Поручения исполнял он большею частью дурно. На него сыпались попреки, часто забывали заплатить ему за покупки, но он всегда молчал и в затруднительных случаях только вздыхал. Он никогда особенно не радовался, не огорчался, рассказывал всегда длинно и скучно, и остроты его всякий раз вызывали смех потому только, что не были смешны. Так, однажды, с намерением пошутить, он сказал Петру: «Петр, ты не осетр», и это вызвало общий смех, и сам он долго смеялся, довольный, что так удачно сострил. Когда хоронили какого-нибудь профессора, то он шел впереди вместе с факельщиками.

Ярцев и Киш обыкновенно приходили вечером к чаю. Если хозяева не уезжали в театр или на концерт, то вечерний чай затягивался до ужина. В один из февральских вечеров в столовой происходил такой разговор:

– Художественное произведение тогда лишь значительно и полезно, когда оно в своей идее содержит какую-нибудь серьезную общественную задачу, – говорил Костя, сердито глядя на Ярцева. – Если в произведении протест против крепостного права или автор вооружается против высшего света с его пошлостями, то такое произведение значительно и полезно. Те же романы и повести, где ах, да ох, да она его полюбила, а он ее разлюбил, – такие произведения, говорю я, ничтожны и черт их побери.

– Я с вами согласна, Константин Иванович, – сказала Юлия Сергеевна. – Один описывает любовное свидание, другой – измену, третий – встречу после разлуки. Неужели нет других сюжетов? Ведь очень много людей, больных, несчастных, замученных нуждой, которым, должно быть, противно все это читать.

Лаптеву было неприятно, что его жена, молодая женщина, которой нет еще и 22 лет, так серьезно и холодно рассуждает о любви. Он догадывался, почему это так.

– Если поэзия не решает вопросов, которые кажутся вам важными, – сказал Ярцев, – то обратитесь к сочинениям по технике, полицейскому и финансовому праву, читайте научные фельетоны. К чему это нужно, чтобы в «Ромео и Жульетте», вместо любви, шла речь, положим, о свободе преподавания или о дезинфекции тюрем, если об этом вы найдете в специальных статьях и руководствах?

– Дядя, это крайности! – перебил Костя. – Мы говорим не о таких гигантах, как Шекспир или Гете, мы говорим о сотне талантливых и посредственных писателей, которые принесли бы гораздо больше пользы, если бы оставили любовь и занялись проведением в массу знаний и гуманных идей.

Киш, картавя и немножко в нос, стал рассказывать содержание повести, которую он недавно прочел. Рассказывал он обстоятельно, не спеша; прошло три минуты, потом пять, десять, а он все продолжал, и никто не мог понять, о чем это он рассказывает, и лицо его становилось все более равнодушным и глаза потускнели.

– Киш, рассказывайте поскорее, – не выдержала Юлия Сергеевна, – а то ведь это мучительно!

– Перестаньте, Киш! – крикнул на него Костя.

Засмеялись все, и сам Киш.

Пришел Федор. С красными пятнами на лице, торопясь, он поздоровался и увел брата в кабинет. В последнее время он избегал многочленных собраний и предпочитал общество одного человека.

– Пускай молодежь там хохочет, а мы с тобой тут поговорим по душам, – сказал он, садясь в глубокое кресло, подальше от лампы. – Давненько, братуха, не видались. Сколько времени ты в амбаре не был? Пожалуй, с неделю.

– Да. Нечего мне у вас там делать. Да и старик надоел, признаться.

– Конечно, без нас с тобой могут обойтись в амбаре, но надо же иметь какое-нибудь занятие. В поте лица будешь есть свой хлеб, как говорится. Бог труды любит.

Петр принес на подносе стакан чаю. Федор выпил без сахара и еще попросил. Он пил много чаю и в один вечер мог выпить стаканов десять.

– Знаешь что, брат? – сказал он, вставая и подходя к брату. – Не мудрствуя лукаво, баллотировься-ка ты в гласные, а мы помаленьку да полегоньку проведем тебя в члены управы, а потом в товарищи головы. Дальше – больше, человек ты умный, образованный, тебя заметят и пригласят в Петербург – земские и городские деятели теперь там в моде, брат, и, гляди, пятидесяти лет тебе еще не будет, а ты уж тайный советник и лента через плечо.

Лаптев ничего не ответил; он понял, что всего этого – и тайного советника, и ленты – хочется самому Федору, и он не знал, что ответить.

Братья сидели и молчали. Федор открыл свои часы и долго, очень долго глядел в них с напряженным вниманием, как будто хотел подметить движение стрелки, и выражение его лица казалось Лаптеву странным.

Позвонили ужинать. Лаптев пошел в столовую, а Федор остался в кабинете. Спора уже не было, а Ярцев говорил тоном профессора, читающего лекцию:

– Вследствие разности климатов, энергий, вкусов, возрастов, равенство среди людей физически невозможно. Но культурный человек может сделать это неравенство безвредным так же, как он уже сделал это с болотами и медведями. Достиг же один ученый того, что у него кошка, мышь, кобчик и воробей ели из одной тарелки, и воспитание, надо надеяться, будет делать то же самое с людьми. Жизнь идет все вперед и вперед, культура делает громадные успехи на наших глазах, и, очевидно, настанет время, когда, например, нынешнее положение фабричных рабочих будет представляться таким же абсурдом, как нам теперь крепостное право, когда меняли девок на собак.

– Это будет не скоро, очень не скоро, – сказал Костя и усмехнулся, – очень не скоро, когда Ротшильд укажут абсурдом его подвалы с золотом, а до тех пор рабочий пусть гнет спину и пухнет с голоду. Ну, нет-с, дядя. Не ждать нужно, а бороться. Если кошка ест с мышью из одной тарелки, то, вы думаете, она проникнута сознанием? Как бы не так. Ее заставили силой.

– Я и Федор богаты, наш отец капиталист, миллионер, с нами нужно бороться! – проговорил Лаптев и потер ладонью лоб. – Бороться со мной – как это не укладывается в моем сознании! Я богат, но что мне дали до сих пор деньги, что дала мне эта сила? Чем я счастливее вас? Детство было у меня каторжное, и деньги не спасали меня от розог. Когда Нина болела и умирала, ей не помогли мои деньги. Когда меня не любят, то я не могу заставить полюбить себя, хотя бы потратил сто миллионов.

– Зато вы можете много добра сделать, – сказал Киш.

– Какое там добро! Вы вчера просили меня за какого-то математика, который ищет должности. Верьте, я могу сделать для него так же мало, как и вы. Я могу дать денег, но ведь это не то, что он хочет. Как-то у одного известного музыканта я просил места для бедняка-скрипача, а он ответил так: «Вы обратились именно ко мне потому, что вы не музыкант». Так и я вам отвечу: вы обращаетесь ко мне за помощью так уверенно потому, что сами ни разу еще не были в положении богатого человека.

– Для чего тут сравнение с известным музыкантом, не понимаю! – проговорила Юлия Сергеевна и покраснела. – При чем тут известный музыкант!

Лицо ее задрожало от ненависти, и она опустила глаза, чтобы скрыть это чувство. И выражение ее лица понял не один только муж, но и все, сидевшие за столом.

– При чем тут известный музыкант! – повторила она тихо. – Нет ничего легче, как помочь бедному человеку.

Наступило молчание. Петр подал рябчиков, но никто не стал есть их, и все ели один салат. Лаптев уже не помнил, что он сказал, но для него было ясно, что ненавистны были не слова его, а уж одно то, что он вмешался в разговор.

После ужина он пошел к себе в кабинет; напряженно, с биением сердца, ожидая еще новых унижений, он прислушивался к тому, что происходило в зале. Там опять начался спор; потом Ярцев сел за рояль и спел чувствительный романс. Это был мастер на все руки: он и пел, и играл, и даже умел показывать фокусы.

– Как вам угодно, господа, а я не желаю сидеть дома, – сказала Юлия. – Надо поехать куда-нибудь.

Решили ехать за город и послали Киша к купеческому клубу за тройкой. Лаптева не приглашали с собой, потому что обыкновенно он не ездил за город и потому что у него сидел теперь брат; но он понял это так, что его общество скучно для них, что он в этой веселой, молодой компании совсем лишний. И его досада, его горькое чувство были так сильны, что он едва не плакал; он даже был рад, что с ним поступают так нелюбезно, что им пренебрегают, что он глупый, скучный муж, золотой мешок, и ему казалось, что он был бы еще больше рад, если бы его жена изменила ему в эту ночь с лучшим другом и потом созналась бы в этом, глядя на него с ненавистью... Он ревновал ее к знакомым студентам, к актерам, певцам, к Ярцеву, даже к встречным, и теперь ему страстно хотелось, чтобы она в самом деле была неверна ему, хотелось застать ее с кем-нибудь, потом отравиться, отделаться раз навсегда от этого кошмара. Федор пил чай и громко глотал. Но вот и он собрался уходить.

– А у нашего старичка, должно быть, темная вода, – сказал он, надевая шубу. – Совсем стал плохо видеть.

Лаптев тоже надел шубу и вышел. Проводив брата до Страстного, он взял извозчика и поехал к Яру.

«И это называется семейным счастьем! – смеялся он над собой. – Это любовь!»

У него стучали зубы, и он не знал, ревность это или что другое. У Яра он прошелся около столов, послушал в зале куплетиста; на случай встречи со своими у него не было ни одной готовой фразы, и он заранее был уверен, что при встрече с женой он только улыбнется жалко и неумно, и все поймут, какое чувство заставило его приехать сюда. От электрического света, громкой музыки, запаха пудры и от того, что встречные дамы смотрели на него, его мучило. Он останавливался у дверей, старался подсмотреть и подслушать, что делается в отдельных кабинетах, и ему казалось, что он играет заодно с куплетистом и этими дамами какую-то низкую, презренную роль. Затем он поехал в Стрельну, но и там не встретил никого из своих, и только когда, возвращаясь назад, опять подъезжал к Яру, его с шумом обогнала тройка; пьяный ямщик кричал, и слышно было, как хохотал Ярцев: «га-гага!»

Вернулся Лаптев домой в четвертом часу. Юлия Сергеевна была уже в постели. Заметив, что она не спит, он подошел к ней и сказал резко:

– Я понимаю ваше отвращение, вашу ненависть, но вы могли бы пощадить меня при посторонних, могли бы скрыть свое чувство.

Она села на постели, спустив ноги. При свете лампадки глаза у нее казались большими, черными.

– Я прошу извинений, – проговорила она.

От волнения и дрожи во всем теле он уже не мог выговорить ни одного слова, а стоял перед ней и молчал. Она тоже дрожала и сидела с видом преступницы, ожидая объяснения.

– Как я страдаю! – сказал он наконец и взял себя за голову. – Я как в аду, я с ума сошел!

– А мне разве легко? – спросила она дрогнувшим голосом. – Один бог знает, каково мне.

– Ты моя жена, уже полгода, но в твоей душе ни даже искры любви, нет никакой надежды, никакого просвета! Зачем ты вышла за меня? – продолжал Лаптев с отчаянием. – Зачем? Какой демон толкал тебя в мои объятия? На что ты надеялась? Чего ты хотела?

А она смотрела на него с ужасом, точно боясь, что он убьет ее.

– Я тебе нравился? Ты любила меня? – продолжал он, задыхаясь. – Нет! Так что же? Что? Говори: что? – крикнул он. – О, проклятые деньги! Проклятые деньги!

– Клянусь богом, нет! – вскрикнула она и перекрестилась; она вся сжалась от оскорбления, и он в первый раз услышал, как она плачет. – Клянусь богом, нет! – повторила она. – Я не думала о деньгах, они мне не нужны, мне просто казалось, что если я откажу тебе, то поступлю дурно. Я боялась испортить жизнь тебе и себе. И теперь страдаю за свою ошибку, невыносимо страдаю!

Она горько зарыдала, и он понял, как ей больно, и, не зная, что сказать, он опустился перед ней на ковер.

– Довольно, довольно, – бормотал он. – Оскорбил я тебя, потому что люблю безумно, – он вдруг поцеловал ее в ногу и страстно обнял. – Хоть искру любви! – бормотал он. – Ну, солги мне! Солги! Не говори, что это ошибка!..

Но она продолжала плакать, и он чувствовал, что его ласки она переносит только как неизбежное последствие своей ошибки. И ногу, которую он поцеловал, она поджала под себя, как птица. Ему стало жаль ее.

Она легла и укрылась с головой, он разделся и тоже лег. Утром оба они чувствовали смущение и не знали, о чем говорить, и ему даже казалось, что она нетвердо ступает на ту ногу, которую он поцеловал.

Перед обедом приезжал прощаться Панауров. Юлии неудержимо захотелось домой на родину; хорошо бы уехать, думала она, и отдохнуть от семейной жизни, от этого смущения и постоянного сознания, что она поступила дурно. Решено было за обедом, что она уедет с Панауровым и погостит у отца недели две-три, пока не соскучится.

## XI

Она и Панауров ехали в отдельном купе; на голове у него был картуз из барашкового меха какой-то странной формы.

– Да, не удовлетворил меня Петербург, – говорил он с расстановкою, вздыхая. – Обещают много, но ничего определенного. Да, дорогая моя. Был я мировым судьей, непременным членом, председателем мирового съезда, наконец, советником губернского правления; кажется, послужил отечеству и имею право на внимание, но вот вам: никак не могу добиться, чтобы меня перевели в другой город...

Панауров закрыл глаза и покачал головой.

– Меня не признают, – продолжал он, как бы засыпая. – Конечно, я не гениальный администратор, но зато я порядочный, честный человек, а по нынешним временам и это редкость. Каюсь, иногда женщин я обманывал слегка, но по отношению к русскому правительству я всегда был джентльменом. Но довольно об этом, – сказал он, открывая глаза, – будем говорить о вас. Что это вам вздумалось вдруг ехать к папаше?

– Так, с мужем немножко не поладила, – сказала Юлия, глядя на его картуз.

– Да, какой-то он у вас странный. Все Лаптевы странные. Муж ваш еще ничего, туда-сюда, но брат его Федор совсем дурак.

Панауров вздохнул и спросил серьезно:

– А любовник у вас уже есть?

Юлия посмотрела на него с удивлением и усмехнулась.

– Бог знает, что вы говорите.

На большой станции, часу в одиннадцатом, оба вышли и поужинали. Когда поезд пошел дальше, Панауров снял пальто и свой картузик и сел рядом с Юлией.

– А вы очень милы, надо вам сказать, – начал он. – Извините за трактирное сравнение, вы напоминаете мне свежепросоленный огурчик; он, так сказать, еще пахнет парником, но уже содержит в себе немножко соли и запаха укропа. Из вас мало-помалу формируется великолепная женщина, чудесная, изящная женщина. Если б эта наша поездка происходила лет пять назад, – вздохнула он, – то я почел бы приятным долгом поступить в ряды ваших поклонников, но теперь, увы, я инвалид.

Он грустно и в то же время милостиво улыбнулся и обнял ее за талию.

– Вы с ума сошли! – сказала она, покраснела и испугалась так, что у нее похолодели руки и ноги. – Оставьте, Григорий Николаич!

– Что же вы боитесь, милая? – спросил он мягко. – Что тут ужасного? Вы просто не привыкли.

Если женщина протестовала, то для него это только значило, что он произвел впечатление и нравится. Держа Юлию за талию, он крепко поцеловал ее в щеку, потом в губы, в полной уверенности, что доставляет ей большое удовольствие. Юлия оправилась от страха и смущения и стала смеяться. Он поцеловал ее еще раз и сказал, надевая свой смешной картуз:

– Вот и все, что может дать вам инвалид. Один турецкий паша, добрый старичок, получил от кого-то в подарок или, кажется, в наследство целый гарем. Когда его молодые красивые жены выстроились перед ним в шеренгу, он обошел их, поцеловал каждую и сказал: «Вот и все, что я теперь в состоянии дать вам». То же самое говорю и я.

Все это казалось ей глупым, необыкновенным и веселило ее. Хотелось шалить. Ставши на диван и напевая, она достала с полки коробку с конфетами и крикнула, бросив кусочек шоколада:

– Ловите!



Он поймал; она бросила ему другую конфетку с громким смехом, потом третью, а он все ловил и клал себе в рот, глядя на нее умоляющими глазами, и ей казалось, что в его лице, в чертах и в выражении много женского и детского. И когда она, запыхавшись, села на диван и продолжала смотреть на него со смехом, он двумя пальцами дотронулся до ее щеки и проговорил как бы с досадой:

– Подлая девчонка!

– Возьмите, – сказала она, подавая ему коробку. – Я не люблю сладкого.

Он съел конфеты, все до одной, и пустую коробку запер к себе в чемодан; он любил коробки с картинками.

– Однако довольно шалить, – сказал он. – Инвалиду пора бай-бай.

Он достал из портплекда свой бухарский халат и подушку, лег и укрылся халатом.

– Спокойной ночи, голубка! – тихо проговорил он и вздохнул так, как будто у него болело все тело.

И скоро послышался храп. Не чувствуя никакого стеснения, она тоже легла и скоро уснула.

Когда на другой день утром она в своем родном городе ехала с вокзала домой, то улицы казались ей пустынными, безлюдными, снег серым, а дома маленькими, точно кто приплюснул их. Встретилась ей процессия: несли покойника в открытом гробе, с хоругвями.

«Покойника встретить, говорят, к счастью», – подумала она.

На окнах того дома, в котором жила когда-то Нина Федоровна, теперь были приклеены белые билетки.

С замиранием сердца она въехала в свой двор и позвонила у двери. Ей отворила незнакомая горничная, полная, заспанная, в теплой ватной кофте. Идя по лестнице, Юлия вспомнила, как здесь объяснялся ей в любви Лаптев, но теперь лестница была немытая, вся в следах. Наверху, в холодном коридоре, ожидали больные в шубах. И почему-то сердце у нее сильно билось, и она едва шла от волнения.

Доктор, еще больше пополневший, красный, как кирпич, и с взъерошенными волосами, пил чай. Увидев дочь, он очень обрадовался и даже прослезился; она подумала, что в жизни этого старика она – единственная радость, и, растроганная, крепко обняла его и сказала, что будет жить у него долго, до Пасхи. Переодевшись у себя в комнате, она пришла в столовую, чтобы вместе пить чай, он ходил из угла в угол, засунув руки в карманы, и пел: «ру-ру-ру», – значит, был чем-то недоволен.

– Тебе в Москве живется очень весело, – сказал он. – Я за тебя очень рад... Мне же, старику, ничего не нужно. Я скоро издохну и освобожу вас всех. И надо удивляться, что у меня такая крепкая шкура, что я еще жив! Изумительно!

Он сказал, что он старый, двуличный осел, на котором ездят все. На него взвалили лечение Нины Федоровны, заботы об ее детях, ее похороны; а этот хлыщ Панауров ничего знать не хотел и даже взял у него сто рублей взаймы и до сих пор не отдает.

– Возьми меня в Москву и посади там в сумасшедший дом! – сказал доктор. – Я сумасшедший, я наивный ребенок, так как все еще верю в правду и справедливость!

Затем он упрекал ее мужа в неадаптивности: не покупает домов, которые продаются так выгодно. И теперь уж Юлии казалось, что в жизни этого старика она – не единственная радость. Когда он принимал больных и потом уехал на практику, она ходила по всем комнатам, не зная, что делать и о чем думать. Она уже отвыкла от родного города и родного дома; ее не тянуло теперь ни на улицу, ни к знакомым, и при воспоминании о прежних подругах и о девичьей жизни не становилось грустно и не было жаль прошлого.

Вечером она оделась понаряднее и пошла ко всенощной. Но в церкви были только простые люди, и ее великолепная шуба и шляпка не произвели никакого впечатления. И казалось ей, будто произошла какая-то перемена и в церкви, и в ней самой. Прежде она любила, когда во

всенощной читали канон и певчие пели ирмосы, например, «Отверзу уста моя», любила медленно подвигаться в толпе к священнику, стоящему среди церкви, и потом ощущать на своем лбу святой елей, теперь же она ждала только, когда кончится служба. И, выходя из церкви, она уже боялась, чтобы у нее не попросили нищие; было бы скучно останавливаться и искать карманы, да и в карманах у нее уже не было медных денег, а были только рубли.

Легла она в постель рано, а уснула поздно. Снились ей все какие-то портреты и похоронная процессия, которую она видела утром; открытый гроб с мертвецом внесли во двор и остановились у двери, потом долго раскачивали гроб на полотенцах и со всего размаха ударили им в дверь. Юлия проснулась и вскочила в ужасе. В самом деле, внизу стучали в дверь, и проволока от звонка шуршала по стене, но звонка не было слышно.

Закашлял доктор. Вот, слышно, горничная сошла вниз, потом вернулась.

– Барыня! – сказала она и постучала в дверь. – Барыня!

– Что такое? – спросила Юлия.

– Вам телеграмма!

Юлия со свечой вышла к ней. Позади горничной стоял доктор, в нижнем белье и пальто, и тоже со свечой.

– Звонок у нас испортился, – говорил он, зевая спросонок. – Давно бы починить надо.

Юлия распечатала телеграмму и прочла: «Пьем ваше здоровье. Ярцев, Кочевой».

– Ах, какие дураки! – сказала она и захохотала; на душе у нее стало легко и весело.

Вернувшись к себе в комнату, она тихо умылась, оделась, потом долго укладывала свои вещи, пока не рассвело, а в полдень уехала в Москву.

## XII

На Святой неделе Лаптевы были в училище живописи на картинной выставке. Отправились они туда всем домом, по-московски, взявши с собой обеих девочек, гувернантку и Костю.

Лаптев знал фамилии всех известных художников и не пропускал ни одной выставки. Иногда летом на даче он сам писал красками пейзажи, и ему казалось, что у него много вкуса и что если б он учился, то из него, пожалуй, вышел бы хороший художник. За границей он заходил иногда к антиквариям и с видом знатока осматривал древности и высказывал свое мнение, покупал какую-нибудь вещь, антикварий брал с него, сколько хотел, и купленная вещь лежала потом, забитая в ящик, в каретном сарае, пока не исчезала неизвестно куда. Или, зайдя в эстампный магазин, он долго и внимательно осматривал картины, бронзу, делал разные замечания и вдруг покупал какую-нибудь лубочную рамочку или коробку дрянной бумаги. Дома у него были картины все больших размеров, но плохие; хорошие же были дурно повешены. Случалось ему не раз платить дорого за вещи, которые потом оказывались грубою подделкой. И замечательно, что, робкий вообще в жизни, он был чрезвычайно смел и самоуверен на картинных выставках. Отчего?

Юлия Сергеевна смотрела на картины, как муж, в кулак или бинокль и удивлялась, что люди на картинах как живые, а деревья как настоящие; но она не понимала, ей казалось, что на выставке много картин одинаковых и что вся цель искусства именно в том, чтобы на картинах, когда смотришь на них в кулак, люди и предметы выделялись, как настоящие.

– Это лес Шишкина, – объяснял ей муж. – Всегда он пишет одно и то же... А вот обрати внимание: такого лилового снега никогда не бывает... А у этого мальчика левая рука короче правой.

Когда все утомились и Лаптев пошел отыскивать Костю, чтобы ехать домой, Юлия осталась перед небольшим пейзажем и смотрела на него равнодушно. На переднем плане речка, через нее бревенчатый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около него костер: должно быть, ночное стерегут. А вдали догорает вечерняя заря.

Юлия вообразила, как она сама идет по мостику, потом тропинкой, все дальше и дальше, а кругом тихо, кричат сонные дергачи, вдали мигает огонь. И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые облачка, которые протянулись по красной части неба, и лес, и поле она видела уже давно и много раз, она почувствовала себя одинокой, и захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного.

– Как это хорошо написано! – проговорила она, удивляясь, что картина стала ей вдруг понятна. – Посмотри, Алеша! Замечаешь, как тут тихо?

Она старалась объяснить, почему так нравится ей этот пейзаж, но ни муж, ни Костя не понимали ее. Она все смотрела на пейзаж с грустной улыбкой, и то, что другие не находили в нем ничего особенного, волновало ее; потом она начала снова ходить по залам и осматривать картины, хотела понять их, и уже ей не казалось, что на выставке много одинаковых картин. Когда она, вернувшись домой, в первый раз за все время обратила внимание на большую картину, висевшую в зале над роялем, то почувствовала к ней вражду и сказала:

– Охота же иметь такие картины!

И после того золотые карнизы, венецианские зеркала с цветами и картины вроде той, что висела над роялем, а также рассуждения мужа и Кости об искусстве уже возбуждали в ней чувство скуки и досады, и порой даже ненависти.

Жизнь текла обыкновенно, изо дня в день, не обещая ничего особенного. Театральный сезон уже кончился, наступило теплое время. Погода все время стояла превосходная. Как-

то утром Лаптевы собрались в окружной суд послушать Костю, который защищал кого-то по назначению суда. Они замешкались дома и приехали в суд, когда уже начался допрос свидетелей. Обвинялся запасный рядовой в краже со взломом. Было много свидетельниц-прачек; они показывали, что подсудимый часто бывал у хозяйки, содержательницы прачечной; под Воздвижение он пришел поздно вечером и стал просить денег, чтобы опохмелиться, но никто ему не дал; тогда он ушел, но через час вернулся и принес с собой пива и мятных пряников для девушек. Пили и пели песни почти до рассвета, а когда утром хватились, то замок у входа на чердак был сломан и из белья пропало: три мужских сорочки, юбка и две простыни. Костя у каждой свидетельницы спрашивал насмешливо: не пила ли она под Воздвижение того пива, которое принес подсудимый? Очевидно, он гнул к тому, что прачки сами себя обокрали. Говорил он свою речь без малейшего волнения, сердито глядя на присяжных.

Он объяснял, что такое кража со взломом и простая кража. Говорил очень подробно, убедительно, обнаруживая необыкновенную способность говорить долго и серьезным тоном о том, что давно уже всем известно. И трудно было понять, чего, собственно, он хочет? Из его длинной речи присяжный заседатель мог сделать только такой вывод: «взлом был, но кражи не было, так как белье пропили сами прачки, а если кража была, то без взлома». Но, очевидно, он говорил именно то, что нужно, так как речь его растрогала присяжных и публику и очень понравилась. Когда вынесли оправдательный приговор, Юлия закивала головой Косте и потом крепко пожалала ему руку.

В мае Лаптевы переехали на дачу в Сокольники. В это время Юлия была уже беременна.

### ХІІІ

Прошло больше года. В Сокольниках, недалеко от полотна Ярославской дороги, сидели на траве Юлия и Ярцев; немного в стороне лежал Кочевой, подложив руки под голову, и смотрел на небо. Все трое уже нагулялись и ждали, когда пройдет дачный шестичасовой поезд, чтоб идти домой пить чай.

– Матери видят в своих детях что-то необыкновенное, так уже природа устроила, – говорила Юлия. – Целые часы мать стоит у постельки, смотрит, какие у ребенка ушки, глазки, носик, восхищается. Если кто посторонний целует ее ребенка, то ей, бедной, кажется, что это доставляет ему большое удовольствие. И ни о чем мать не говорит, только о ребенке. Я знаю эту слабость матерей и слежу за собой, но, право, моя Оля необыкновенная. Как она смотрит, когда сосет! Как смеется! Ей только восемь месяцев, но, ей-богу, таких умных глаз я не видела даже у трехлетних.

– Скажите, между прочим, – спросил Ярцев, – кого вы любите больше: мужа или ребенка?

Юлия пожала плечами.

– Не знаю, – сказала она. – Я никогда сильно не любила мужа, и Оля – это, в сущности, моя первая любовь. Вы знаете, я ведь не по любви шла за Алексея. Прежде я была глупа, страдала, все думала, что погубила и его и свою жизнь, а теперь вижу, никакой любви не нужно, все вздор.

– Но если не любовь, то какое же чувство привязывает вас к мужу? Отчего вы живете с ним?

– Не знаю... Так, привычка, должно быть. Я его уважаю, мне скучно, когда его долго нет, но это – не любовь. Он умный, честный человек, и для моего счастья этого достаточно. Он очень добрый, простой...

– Алеша умный, Алеша добрый, – проговорил Костя, лениво поднимая голову, – но, милая моя, чтобы узнать, что он умный, добрый и интересный, нужно с ним три пуда соли съесть... И какой толк в его доброте или в его уме? Денег он вам отвалит сколько угодно, это он может, но где нужно употребить характер, дать отпор наглецу и нахалу, там он конфузится и падает духом. Такие люди, как ваш любезный Алексис, прекрасные люди, но для борьбы они совершенно не годны. Да и вообще ни на что не годны.

Наконец показался поезд. Из трубы валил и поднимался над рощей совершенно розовый пар, и два окна в последнем вагоне вдруг блеснули от солнца так ярко, что было больно смотреть.

– Чай пить! – сказала Юлия Сергеевна, поднимаясь.

Она в последнее время пополнела, и походка у нее была уже дамская, немножко ленивая.

– А все-таки без любви не хорошо, – сказал Ярцев, идя за ней. – Мы все только говорим и читаем о любви, но сами мало любим, а это, право, не хорошо.

– Все это пустяки, Иван Гаврилыч, – сказала Юлия. – Не в этом счастье.

Чай пили в садике, где цвели резеда, левкои, табак и уже распускались ранние шпажники. Ярцев и Кочевой по лицу Юлии Сергеевны видели, что она переживает счастливое время душевного спокойствия и равновесия, что ей ничего не нужно, кроме того, что уже есть, и у них самих становилось на душе покойно, славно. Кто бы что ни сказал, все выходило кстати и умно. Сосны были прекрасны, пахло смолой чудесно, как никогда раньше, и сливки были очень вкусны, и Саша была умная, хорошая девочка...

После чаю Ярцев пел романсы, аккомпанируя себе на рояле, а Юлия и Кочевой сидели молча и слушали, и только Юлия изредка вставала и тихо выходила, чтобы взглянуть на ребенка и на Лиду, которая вот уже два дня лежала вся в жару и ничего не ела.

– «Мой друг, мой нежный друг», – пел Ярцев. – Нет, господа, хоть зарежьте, – сказал он и встряхнул головой, – не понимаю, почему вы против любви! Если б я не был занят пятнадцать часов в сутки, то непременно бы влюбился.

Ужинать накрыли на террасе; было тепло и тихо, но Юлия куталась в платок и жаловалась на сырость. Когда потемнело, ей почему-то стало не по себе, она вся вздрагивала и упрашивала гостей посидеть подольше; она угощала их вином и после ужина приказала подать коньяку, чтобы они не уходили. Ей не хотелось оставаться одной с детьми и прислугой.

– Мы, дачницы, затеваем здесь спектакль для детей, – сказала она. – Уже все есть у нас – и театр, и актеры, остановка только за пьесой. Прислали нам десятка два разных пьес, но ни одна не годится. Вот вы любите театр и хорошо знаете историю, – обратилась она к Ярцеву, – напишите-ка нам историческую пьесу.

– Что ж, это можно.

Гости выпили весь коньяк и собрались уходить. Был уже одиннадцатый час, а по-дачному это поздно.

– Как темно, зги не видать! – говорила Юлия, провожая их за ворота. – И не знаю, как вы, господа, дойдете. Но, однако, холодно!

Она укуталась плотнее и пошла назад к крыльцу.

– А мой Алексей, должно быть, где-нибудь в карты играет! – крикнула она. – Спокойной ночи!

После светлых комнат не было ничего видно. Ярцев и Костя ошупью, как слепые, добрались до полотна железной дороги и перешли его.

– Ни черта не видать, – сказал Костя басом, останавливаясь, и поглядел на небо. – А звезды-то, звезды, точно новенькие пятиалтынные! Гаврилыч!

– А? – отозвался где-то Ярцев.

– Я говорю: не видать ничего. Где вы?

Ярцев, посвистывая, подошел к нему и взял его под руку.

– Эй, дачники! – вдруг закричал Костя во все горло. – Социалиста поймали!

Навеселе он всегда был очень беспокоен, кричал, придирался к городovým и извозчикам, пел, неистово хохотал.

– Природа, черт бы тебя подрал! – закричал он.

– Ну, ну, – унимал его Ярцев. – Не надо этого. Прошу вас.

Скоро приятели освоились с потемками и стали различать силуэты высоких сосен и телеграфных столбов. С московских вокзалов доносились изредка свистки, и жалобно гудели проволоки. Самая же роща не издавала ни звука, и в этом молчании чувствовалось что-то гордое, сильное, таинственное, и теперь ночью казалось, что верхушки сосен почти касаются неба. Приятели отыскали свою просеку и пошли по ней. Было тут совсем темно, и только по длинной полосе неба, усеянной звездами, да по тому, что под ногами была утоптанная земля, они знали, что идут по аллее. Шли рядом молча, и обоим чудилось, будто навстречу им идут какие-то люди. Хмельное настроение покинуло их. Ярцеву пришло в голову, что, быть может, в этой роще носятся теперь души московских царей, бояр и патриархов, и хотел сказать это Косте, но удержался.

Когда вышли к заставе, на небе чуть брезжило. Продолжая молчать, Ярцев и Кочевой шли по мостовой мимо дешевых дач, трактиров, лесных складов; под мостом соединительной ветви их прохватила сырость, приятная, с запахом липы, и потом открылась широкая длинная улица, и на ней ни души, ни огня... Когда дошли до Красного пруда, уже светало.

– Москва – это город, которому придется еще много страдать, – сказал Ярцев, глядя на Алексеевский монастырь.

– Что это вам пришло в голову?

– Так. Люблю я Москву.

И Ярцев, и Костя родились в Москве и обожали ее, и относились почему-то враждебно к другим городам; они были убеждены, что Москва – замечательный город, а Россия – замечательная страна. В Крыму, на Кавказе и за границей им было скучно, неуютно, неудобно, и свою серенькую московскую погоду они находили самой приятной и здоровой. Дни, когда в окна стучит холодный дождь и рано наступают сумерки, и стены домов и церквей принимают бурый, печальный цвет, и когда, выходя на улицу, не знаешь, что надеть, – такие дни приятно возбуждали их.

Наконец около вокзала они наняли извозчика.

– В самом деле, хорошо бы написать историческую пьесу, – сказал Ярцев, – но, знаете, без Ляпуновых и без Годуновых, а из времен Ярослава или Мономаха... Я ненавижу русские исторические пьесы все, кроме монолога Пимена. Когда имеешь дело с каким-нибудь историческим источником и когда читаешь даже учебник русской истории, то кажется, что в России все необыкновенно талантливо, даровито и интересно, но когда я смотрю в театре историческую пьесу, то русская жизнь начинает казаться мне бездарной, нездоровой, не оригинальной.

Около Дмитровки приятели расстались, и Ярцев поехал дальше к себе на Никитскую. Он дремал, покачивался и все думал о пьесе. Вдруг он вообразил страшный шум, лязганье, крики на каком-то непонятном, точно бы калмыцком языке; и какая-то деревня, вся охваченная пламенем, и соседние леса, покрытые инеем и нежно-розовые от пожара, видны далеко кругом и так ясно, что можно различить каждую елочку; какие-то дикие люди, конные и пешие, носятся по деревне, их лошади и они сами так же багровы, как зарево на небе.

«Это половцы», – думает Ярцев.

Один из них – старый, страшный, с окровавленным лицом, весь обожженный – привязывает к седлу молодую девушку с белым русским лицом. Старик о чем-то неистово кричит, а девушка смотрит печально, умно... Ярцев встряхнул головой и проснулся.

– «Мой друг, мой нежный друг...» – запел он.

Расплачиваясь с извозчиком и потом поднимаясь к себе по лестнице, он все никак не мог очнуться и видел, как пламя перешло на деревья, затрещал и задымил лес; громадный дикий кабан, обезумевший от ужаса, неся по деревне... А девушка, привязанная к седлу, все смотрела.

Когда он вошел к себе в комнату, то было уже светло. На рояле около раскрытых нот догорали две свечи. На диване лежала Рассудина, в черном платье, в кушаке, с газетой в руках, и крепко спала. Должно быть, играла долго, ожидая, когда вернется Ярцев, и, не дождавшись, уснула.

«Эка, умаялась!» – подумал он.

Осторожно вынув у нее из рук газету, он укрыв ее пледом, потушил свечи и пошел к себе в спальню. Ложась, он думал об исторической пьесе, и из головы у него все не выходил мотив: «Мой друг, мой нежный друг...»

Через два дня заезжал к нему на минутку Лаптев сказать, что Лида заболела дифтеритом и что от нее заразилась Юлия Сергеевна и ребенок, а еще через пять дней пришло известие, что Лида и Юлия выздоравливают, а ребенок умер, и что Лаптевы бежали из своей сокольницкой дачи в город.

## XIV

Лаптеву было уже неприятно оставаться подолгу дома. Жена его часто уходила во флигель, говоря, что ей нужно заняться с девочками, но он знал, что она ходит туда не заниматься, а плакать у Кости. Был девятый день, потом двадцатый, потом сороковой, и все нужно было ездить на Алексеевское кладбище слушать панихиду и потом томиться целые сутки, думать только об этом несчастном ребенке и говорить жене в утешение разные пошлости. Он уже редко бывал в амбаре и занимался только благотворительностью, придумывая для себя разные заботы и хлопоты, и бывал рад, когда случалось из-за какого-нибудь пустяка проездить целый день. В последнее время он собирался ехать за границу, чтобы познакомиться там с устройством ночлежных приютов, и эта мысль теперь развлекала его.

Был осенний день. Юлия только что пошла во флигель плакать, а Лаптев лежал в кабинете на диване и придумывал, куда бы уйти. Как раз в это время Петр доложил, что пришла Рассудина. Лаптев обрадовался очень, вскочил и пошел навстречу неожиданной гостье, своей бывшей подруге, о которой он уже почти стал забывать. С того вечера, как он видел ее в последний раз, она нисколько не изменилась и была все такая же.

– Полина! – сказал он, протягивая к ней обе руки. – Сколько зим, сколько лет! Если бы вы знали, как я рад вас видеть! Милости просим!

Рассудина, здороваясь, рванула его за руку и, не снимая пальто и шляпы, вошла в кабинет и села.

– Я к вам на одну минуту, – сказала она. – О пустяках мне разговаривать некогда. Извольте сесть и слушать. Рады вы меня видеть или не рады, для меня решительно все равно, так как милостивое внимание ко мне господ мужчин я не ставлю ни в грош. Если же я пришла к вам, то потому, что была сегодня уже в пяти местах и везде получила отказ, между тем дело неотложное. Слушайте, – продолжала она, глядя ему в глаза, – пять знакомых студентов, люди ограниченные и бестолковые, но, несомненно, бедные, не внесли платы, и их теперь исключают. Ваше богатство налагает на вас обязанность поехать сейчас же в университет и заплатить за них.

– С удовольствием, Полина.

– Вот вам их фамилии, – сказала Рассудина, подавая Лаптеву записку. – Поезжайте сию же минуту, а наслаждаться семейным счастьем успеете после.

В это время за дверью, ведущую в гостиную, послышался какой-то шорох: должно быть, чесалась собака. Рассудина покраснела и вскочила.

– Ваша дульцинея нас подслушивает! – сказала она. – Это гадко!

Лаптеву стало обидно за Юлию.

– Ее здесь нет, она во флигеле, – сказал он. – И не говорите о ней так. У нас умер ребенок, и она теперь в ужасном горе.

– Можете успокоить ее, – усмехнулась Рассудина, опять садясь, – будет еще целый десяток. Чтобы рожать детей, кому ума не доставало?

Лаптев вспомнил, что это самое или нечто подобное он слышал уже много раз когда-то давно, и на него пахнуло поэзией минувшего, свободой одинокой, холостой жизни, когда ему казалось, что он молод и может все, что хочет, и когда не было любви к жене и воспоминаний о ребенке.

– Поедемте вместе, – сказал он, потягиваясь.

Когда приехали в университет, Рассудина осталась ждать у ворот, а Лаптев пошел в канцелярию; немного погодя он вернулся и вручил Рассудиной пять квитанций.

– Вы теперь куда? – спросил он.

– К Ярцеву.



– И я с вами.

– Но ведь вы будете мешать ему работать.

– Нет, уверяю вас! – сказал он и посмотрел на нее умоляюще.

На ней была черная, точно траурная шляпка с креповою отделкой и очень короткое поношенное пальто, в котором оттопырились карманы. Нос у нее казался длиннее, чем был раньше, и на лице не было ни кровинки, несмотря на холод. Лаптеву было приятно идти за ней, повиноваться ей и слушать ее ворчание. Он шел и думал про нее: какова, должно быть, внутренняя сила у этой женщины, если, будучи такою некрасивой, угловатой, беспокойной, не умея одеться порядочно, всегда неряшливо причесанная и всегда какая-то нескладная, она все-таки обаятельна.

К Ярцеву прошли они черным ходом, через кухню, где встретила их кухарка, чистенькая старушка с седыми кудрями; она очень сконфузилась, сладко улыбнулась, причем ее маленькое лицо стало похоже на пирожное, и сказала:

– Пожалуйте-с.

Ярцева дома не было. Рассудина села за рояль и принялась за скучные, трудные экзерцисы, приказав Лаптеву не мешать ей. И он не развлекал ее разговорами, а сидел в стороне и перелистывал «Вестник Европы». Проиграв два часа, – это была ее дневная порция, – она поела чего-то в кухне и ушла на уроки. Лаптев прочел продолжение какого-то романа, потом долго сидел, не читая и не испытывая скуки и довольный, что уже опоздал домой к обеду.

– Га-га-га! – послышался смех Ярцева, и вошел он сам, здоровый, бодрый, краснощекий, в новеньком фраке со светлыми пуговицами. – Га-га-га!

Приятели пообедали вместе. Потом Лаптев лег на диван, а Ярцев сел около и закурил сигарку. Наступили сумерки.

– Я, должно быть, начинаю стареть, – сказал Лаптев. – С тех пор, как умерла сестра Нина, я почему-то стал часто подумывать о смерти.

Заговорили о смерти, о бессмертии души, о том, что хорошо бы в самом деле воскреснуть и потом полететь куда-нибудь на Марс, быть вечно праздным и счастливым, а главное, мыслить как-нибудь особенно, не по-земному.

– А не хочется умирать, – тихо сказал Ярцев. – Никакая философия не может помирить меня со смертью, и я смотрю на нее просто как на погибель. Жить хочется.

– Вы любите жизнь, Гаврилыч?

– Да, люблю.

– А вот я никак не могу понять себя в этом отношении. У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, не уверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Иной говорит глупости или плутует, и так жизнерадостно, я же, случается, сознательно делаю добро и испытываю при этом только беспокойство или полнейшее равнодушие. Все это, Гаврилыч, объясняю я тем, что я раб, внук крепостного. Прежде чем мы, чумазые, выйдем на настоящую дорогу, много нашего брата ляжет костью!

– Все это хорошо, голубчик, – сказал Ярцев и вздохнул. – Это только показывает лишний раз, как богата, разнообразна русская жизнь. Ах, как богата! Знаете, я с каждым днем все более убеждаюсь, что мы живем накануне величайшего торжества, и мне хотелось бы дожить, самому участвовать. Хотите верьте, хотите нет, но, по-моему, подрастает теперь замечательное поколение. Когда я занимаюсь с детьми, особенно с девочками, то испытываю наслаждение. Чудесные дети!

Ярцев подошел к роялю и взял аккорд.

– Я химик, мыслю химически и умру химиком, – продолжал он. – Но я жаден, я боюсь, что умру не насытившись, и мне мало одной химии, я хватаюсь за русскую историю, историю искусств, педагогию, музыку... Как-то летом ваша жена сказала, чтобы я написал историческую пьесу, и теперь мне хочется писать, писать; так бы, кажется, просидел трое суток, не вставая, и

все писал бы. Образы истомили меня, в голове теснота, и я чувствую, как в мозгу моем бьется пульс. Я вовсе не хочу, чтобы из меня вышло что-нибудь особенное, чтобы я создал великое, а мне просто хочется жить, мечтать, надеяться, всюду поспевать... Жизнь, голубчик, коротка, и надо прожить ее получше.

После этой дружеской беседы, которая кончилась только в полночь, Лаптев стал бывать у Ярцева почти каждый день. Его тянуло к нему. Обыкновенно он приходил перед вечером, ложился и ждал его прихода терпеливо, не ощущая ни малейшей скуки. Ярцев, вернувшись со службы и пообедав, садился за работу, но Лаптев задавал ему какой-нибудь вопрос, начинался разговор, было уже не до работы, а в полночь приятели расставались, очень довольные друг другом.

Но это продолжалось недолго. Как-то придя к Ярцеву, Лаптев застал у него одну Рассуди́ну, которая сидела за роялем и играла свои экзерцисы. Она посмотрела на него холодно, почти враждебно, и спросила, не подавая ему руки:

– Скажите, пожалуйста, когда этому будет конец?

– Чему этому? – спросил Лаптев, не понимая.

– Вы ходите сюда каждый день и мешаете Ярцеву работать. Ярцев не купчишка, а ученый, каждая минута его жизни драгоценна. Надо же понимать и иметь хотя немножко деликатности!

– Если вы находите, что я мешаю, – сказал Лаптев кротко, смутившись, – то я прекращу свои посещения.

– И прекрасно. Уходите же, а то он может сейчас прийти и застать вас здесь.

Тон, каким это было сказано, и равнодушные глаза Рассудиной окончательно смутили его. У нее уже не было никаких чувств к нему, кроме желанья, чтобы он поскорее ушел, – и как это не было похоже на прежнюю любовь! Он вышел, не пожав ей руки, и казалось ему, что она окликнет его и позовет назад, но послышались опять гаммы, и он, медленно спускаясь по лестнице, понял, что он уже чужой для нее.

Дня через три пришел к нему Ярцев, чтобы вместе провести вечер.

– А у меня новость, – сказал он и засмеялся. – Полина Николаевна перебралась ко мне совсем. – Он немножко смутился и продолжал вполголоса: – Что ж? Конечно, мы не влюблены друг в друга, но я думаю, это... это все равно. Я рад, что могу дать ей приют и покой и возможность не работать в случае, если она заболит, ей же кажется, что оттого, что она сошлась со мной, в моей жизни будет больше порядка и что под ее влиянием я сделаюсь великим ученым. Так она думает. И пускай себе думает. У южан есть поговорка: дурень думкой богатеет. Га-га-га!

Лаптев молчал. Ярцев прошелся по кабинету, посмотрел на картины, которые он уже видел много раз раньше, и сказал, вздыхая:

– Да, друг мой. Я старше вас на три года, и мне уже поздно думать о настоящей любви, и, в сущности, такая женщина, как Полина Николаевна, для меня находка, и, конечно, я проживу с ней благополучно до самой старости, но, черт его знает, все чего-то жалко, все чего-то хочется, и все кажется мне, будто я лежу в долине Дагестана и снится мне бал. Одним словом, никогда человек не бывает доволен тем, что у него есть.

Он пошел в гостиную и как ни в чем не бывало пел романсы, а Лаптев сидел у себя в кабинете, закрывши глаза, старался понять, почему Рассудина сошлась с Ярцевым. А потом он все грустил, что нет прочных, постоянных привязанностей, и ему было досадно, что Полина Николаевна сошлась с Ярцевым, и досадно на себя, что чувство его к жене было уже совсем не то, что раньше.

## XV

Лаптев сидел в кресле и читал, покачиваясь; Юлия была тут же в кабинете и тоже читала. Казалось, говорить было не о чем, и оба с утра молчали. Изредка он посматривал на нее через книгу и думал: женишься по страстной любви или совсем без любви – не все ли равно? И то время, когда он ревновал, волновался, страдал, представлялось ему теперь далеким. Он успел уже побывать за границей и теперь отдыхал от поездки и рассчитывал с наступлением весны опять поехать в Англию, где ему очень понравилось.

А Юлия Сергеевна привыкла к своему горю, уже не ходила во флигель плакать. В эту зиму она уже не ездила по магазинам, не бывала в театрах и на концертах, а оставалась дома. Она не любила больших комнат и всегда была или в кабинете мужа, или у себя в комнате, где у нее были кiotы, полученные в приданое, и висел на стене тот самый пейзаж, который так понравился ей на выставке. Денег на себя она почти не тратила и проживала теперь так же мало, как когда-то в доме отца.

Зима протекала невесело. Везде в Москве играли в карты, но если вместо этого придумывали какое-нибудь другое развлечение, например пели, читали, рисовали, то выходило еще скучнее. И оттого, что в Москве было мало талантливых людей и на всех вечерах участвовали все одни и те же певцы и чтецы, само наслаждение искусством мало-помалу приелось и превратилось для многих в скучную, однообразную обязанность.

К тому же у Лаптевых не проходило ни одного дня без огорчений. Старик Федор Степанович видел очень плохо и уже не бывал в амбаре, и глазные врачи говорили, что он скоро ослепнет; Федор тоже почему-то перестал бывать в амбаре, а сидел все время дома и что-то писал. Панауров получил перевод в другой город с производством в действительные статские советники и теперь жил в «Дрездене» и почти каждый день приезжал к Лаптеву просить денег. Киш, наконец, вышел из университета и в ожидании, пока Лаптевы найдут ему какую-нибудь должность, просиживал у них по целым дням, рассказывая длинные, скучные истории. Все это раздражало и утомляло и делало будничную жизнь неприятной.

Вошел в кабинет Петр и доложил, что пришла какая-то незнакомая дама. На карточке, которую он подал, было: «Жозефина Иосифовна Милан».

Юлия Сергеевна лениво поднялась и вышла, слегка прихрамывая, так как отсидела ногу. В дверях показалась дама, худая, очень бледная, с темными бровями, одетая во все черное. Она сжала на груди руки и проговорила с мольбой:

– Мосье Лаптев, спасите моих детей!

Звон браслетов и лицо с пятнами пудры Лаптеву уже были знакомы; он узнал ту самую даму, у которой как-то перед свадьбой ему пришлось так некстати пообедать. Это была вторая жена Панаурова.

– Спасите моих детей! – повторила она, и лицо ее задрожало и стало вдруг старым и жалким, и глаза покраснели. – Только вы один можете спасти нас, и я приехала к вам в Москву на последние деньги! Дети мои умрут с голоду!

Она сделала такое движение, как будто хотела стать на колени. Лаптев испугался и схватил ее за руки повыше локтей.

– Садитесь, садитесь... – бормотал он, усаживая ее. – Прошу вас, садитесь.

– У нас теперь нет денег, чтобы купить себе хлеба, – сказала она. – Григорий Николаич уезжает на новую должность, но меня с детьми не хочет брать с собой, и те деньги, которые вы, великодушный человек, присылали нам, тратит только на себя. Что же нам делать? Что? Бедные, несчастные дети!

– Успокойтесь, прошу вас. Я прикажу в конторе, чтобы эти деньги выслали на ваше имя.

Она зарыдала, потом успокоилась, и он заметил, что от слез у нее по напудренным щекам прошли дорожки и что у нее растут усы.

– Вы великодушны без конца, мосье Лаптев. Но будьте нашим ангелом, нашею доброю феей, уговорите Григория Николаича, чтобы он не покидал меня, а взял с собой. Ведь я его люблю, люблю безумно, он моя отрада.

Лаптев дал ей сто рублей и пообещал поговорить с Панауровым и, провожая до передней, все боялся, как бы она не зарыдала или не стала на колени.

После нее пришел Киш. Потом пришел Костя с фотографическим аппаратом. В последнее время он увлекался фотографией и каждый день по нескольку раз снимал всех в доме, и это новое занятие приносило ему много огорчений, и он даже похудел.

Перед вечерним чаем пришел Федор. Севши в кабинете в угол, он раскрыл книгу и долго смотрел все в одну страницу, по-видимому, не читая. Потом долго пил чай; лицо у него было красное. В его присутствии Лаптев чувствовал на душе тяжесть; даже молчание его было ему неприятно.

– Можешь поздравить Россию с новым публицистом, – сказал Федор. – Впрочем, шутки в сторону, разрешился, брат, я одною статеечкой, проба пера, так сказать, и принес тебе показать. Прочти, голубчик, и скажи свое мнение. Только искренно.

Он вынул из кармана тетрадку и подал ее брату. Статья называлась так: «Русская душа»; написана она была скучно, бесцветным слогом, каким пишут обыкновенно неталантливые, втайне самолюбивые люди, и главная мысль ее была такая: интеллигентный человек имеет право не верить в сверхъестественное, но он обязан скрывать это свое неверие, чтобы не производить соблазна и не колебать в людях веры; без веры нет идеализма, а идеализму предопределено спасти Европу и указать человечеству настоящий путь.

– Но тут ты не пишешь, от чего надо спасать Европу, – сказал Лаптев.

– Это понятно само собой.

– Ничего не понятно, – сказал Лаптев и прошелся в волнении. – Непонятно, для чего это ты написал. Впрочем, это твое дело.

– Хочу издать отдельно брошюрой.

– Это твое дело.

Помолчали минуту. Федор вздохнул и сказал:

– Глубоко, бесконечно жаль, что мы с тобой разны мыслим. Ах, Алеша, Алеша, брат мой милый! Мы с тобою люди русские, православные, широкие люди; к лицу ли нам все эти немецкие и жидовские идеишки? Ведь мы с тобой не прохвосты какие-нибудь, а представители именитого купеческого рода.

– Какой там именитый род? – проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. – Именитый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновничка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что нам с тобой дал этот твой именитый род? Какие нервы и какую кровь мы получили в наследство? Ты вот уже почти три года рассуждаешь, как дьячок, говоришь всякий вздор и вот написал – ведь это холопский бред! А я, а я? Посмотри на меня... ни гибкости, ни смелости, ни сильной воли; я боюсь за каждый свой шаг, точно меня выпорют, я робею перед ничтожествами, идиотами, скотами, стоящими неизмеримо ниже меня умственно и нравственно; я боюсь дворников, швейцаров, городских, жандармов, я всех боюсь, потому что я родился от затравленной матери, с детства я забит и запуган!.. Мы с тобой хорошо сделаем, если не будем иметь детей. О, если бы дал бог, нами кончился бы этот именитый купеческий род!

В кабинет вошла Юлия Сергеевна и села у стола.

– Вы о чем-то тут спорили? – сказала она. – Я не помешала?

– Нет, сестреночка, – ответил Федор, – разговор у нас принципиальный. Вот ты говоришь: такой-сякой род, – обратился он к брату, – однако же этот род создал миллионное дело. Это чего-нибудь да стоит!

– Велика важность – миллионное дело! Человек без особенного ума, без способностей случайно становится торгашом, потом богачом, торгует изо дня в день, без всякой системы, без цели, не имея даже жадности к деньгам, торгует машинально, и деньги сами идут к нему, а не он к ним. Он всю жизнь сидит у дела и любит его потому только, что может начальствовать над приказчиками, издеваться над покупателями. Он старостой в церкви потому, что там можно начальствовать над певчими и гнуть их в дугу; он попечитель школы потому, что ему нравится сознавать, что учитель – его подчиненный и что он может разыгрывать перед ним начальство. Купец любит не торговать, а начальствовать, и ваш амбар не торговое учреждение, а застенок! Да, для такой торговли, как ваша, нужны приказчики обезличенные, обездоленные, и вы сами готовите себе таких, заставляя их с детства кланяться вам в ноги за кусок хлеба, и с детства вы приучаете их к мысли, что вы – их благодетели. Небось вот университетского человека ты в амбар к себе не возьмешь.

– Университетские люди для нашего дела не годятся.

– Неправда! – крикнул Лаптев. – Ложь!

– Извини, мне кажется, ты плюешь в колодезь, из которого пьешь, – сказал Федор и встал. – Наше дело тебе ненавистно, однако же ты пользуешься его доходами.

– Ага, договорились! – сказал Лаптев и засмеялся, сердито глядя на брата. – Да не принадлежи я к вашему именитому роду, будь у меня хоть на грош воли и смелости, я давно бы швырнул от себя эти доходы и пошел бы зарабатывать себе хлеб. Но вы в своем амбаре с детства обезличили меня! Я ваш!

Федор взглянул на часы и стал торопливо прощаться. Он поцеловал руку у Юлии и вышел, но, вместо того чтобы идти в переднюю, прошел в гостиную, потом в спальню.

– Я забыл расположение комнат, – сказал он в сильном замешательстве. – Странный дом. Не правда ли, странный дом?

Когда он надевал шубу, то был будто ошеломлен, и лицо его выражало боль. Лаптев уже не чувствовал гнева; он испугался, и в то же время ему стало жаль Федора, и та теплая, хорошая любовь к брату, которая, казалось, погасла в нем в эти три года, теперь проснулась в его груди, и он почувствовал сильное желание выразить эту любовь.

– Ты, Федя, приходи завтра к нам обедать, – сказал он и погладил его по плечу. – Придешь?

– Да, да. Но дайте мне воды.

Лаптев сам побежал в столовую, взял в буфете, что первое попало ему под руки, – это была высокая пивная кружка, – налил воды и принес брату. Федор стал жадно пить, но вдруг укусил кружку, послышался скрежет, потом рыдание. Вода полилась на шубу, на сюртук. И Лаптев, никогда раньше не выдавший плачущих мужчин, в смущении и испуге стоял и не знал, что делать. Он растерянно смотрел, как Юлия и горничная сняли с Федора шубу и повели его обратно в комнаты, и сам пошел за ними, чувствуя себя виноватым.

Юлия уложила Федора и опустилась перед ним на колени.

– Это ничего, – утешала она. – Это у вас нервы...

– Голубушка, мне так тяжело! – говорил он. – Я несчастлив, несчастлив... но все время я скрывал, скрывал!

Он обнял ее за шею и прошептал ей на ухо:

– Я каждую ночь вижу сестру Нину. Она приходит и садится в кресло возле моей постели...

Когда час спустя он опять надевал в передней шубу, то уже улыбался, и ему было совестно горничной. Лаптев поехал проводить его на Пятницкую.

– Ты приезжай к нам завтра обедать, – говорил он дорогой, держа его под руку, – а на Пасху поедem вместе за границу. Тебе необходимо проветриться, а то ты совсем закис.

– Да, да. Я поеду, я поеду... И сестреночку с собой возьмем.

Вернувшись домой, Лаптев застал жену в сильном нервном возбуждении. Происшествие с Федором потрясло ее, и она никак не могла успокоиться. Она не плакала, но была очень бледна и металась в постели и цепко хваталась холодными пальцами за одеяло, за подушку, за руки мужа. Глаза у нее были большие, испуганные.

– Не уходи от меня, не уходи, – говорила она мужу. – Скажи, Алеша, отчего я перестала богу молиться? Где моя вера? Ах, зачем вы при мне говорили о религии? Вы смутили меня, ты и твои друзья. Я уже не молюсь.

Он клал ей на лоб компрессы, согревал ей руки, поил ее чаем, а она жалась к нему в страхе...

К утру она утомилась и уснула, а Лаптев сидел возле и держал ее за руку. Так ему и не удалось уснуть. Целый день потом он чувствовал себя разбитым, тупым, ни о чем не думал и вяло бродил по комнатам.

## XVI

Доктора сказали, что у Федора душевная болезнь. Лаптев не знал, что делается на Пятницкой, а темный амбар, в котором уже не показывались ни старик, ни Федор, производил на него впечатление склепа. Когда жена говорила ему, что ему необходимо каждый день бывать и в амбаре, и на Пятницкой, он или молчал, или же начинал с раздражением говорить о своем детстве, о том, что он не в силах простить отцу своего прошлого, что Пятницкая и амбар ему ненавистны и проч.

В одно из воскресений, утром, Юлия сама поехала на Пятницкую. Она застала старика Федора Степаныча в той самой зале, в которой когда-то, по случаю ее приезда, служили молебн. Он, в своем парусиновом пиджаке, без галстука, в туфлях, сидел неподвижно в кресле и моргал слепыми глазами.

– Это я, ваша невестка, – сказала она, подходя к нему. – Я приехала поведать вас.

Он стал тяжело дышать от волнения. Она, тронутая его несчастьем, его одиночеством, поцеловала ему руку, а он оцупал ее лицо и голову и, как бы убедившись, что это она, перекрестил ее.

– Спасибо, спасибо, – сказал он. – А я вот глаза потерял и ничего не вижу... Окно чуть-чуть вижу и огонь тоже, а людей и предметы не замечаю. Да, я слепну, Федор заболел, и без хозяйского глаза теперь плохо. Если случится какой беспорядок, то взыскать некому; избалуется народ. А отчего это Федор заболел? От простуды, что ли? А я вот никогда не хворал и никогда не лечился. Никаких я докторов не знал.

И старик, по обыкновению, стал хвастать. Между тем прислуга торопливо накрывала в зале на стол и ставила закуски и бутылки с винами. Было поставлено бутылок десять, и одна из них имела вид Эйфелевой башни. Подали полное блюдо горячих пирожков, от которых пахло вареным рисом и рыбой.

– Прошу дорогую гостью закусить, – сказал старик.

Она взяла его под руку и подвела к столу, и налила ему водки.

– Я к вам и завтра приеду, – сказала она, – и привезу с собой ваших внучек, Сашу и Лиду. Они будут жалеть и ласкать вас.

– Не нужно, не привозите. Они незаконные.

– Почему же незаконные? Ведь отец и мать их были повенчаны.

– Без моего позволения. Я не благословлял их и знать не хочу. Бог с ними.

– Странно вы говорите, Федор Степаныч, – сказала Юлия и вздохнула.

– В Евангелии сказано: дети должны уважать и бояться своих родителей.

– Ничего подобного. В Евангелии сказано, что мы должны прощать даже врагам своим.

– В нашем деле нельзя прощать. Если будешь всех прощать, то через три года в трубу вылетишь.

– Но простить, сказать ласковое, приветливое слово человеку, даже виноватому, – это выше дела, выше богатства.

Юлии хотелось смягчить старика, внушить ему чувство жалости, пробудить в нем раскаяние, но все, что она говорила, он выслушивал только снисходительно, как взрослые слушают детей.

– Федор Степаныч, – сказала Юлия решительно, – вы уже стары, и скоро бог призовет вас к себе; он спросит вас не о том, как вы торговали и хорошо ли шли ваши дела, а о том, были ли вы милостивы к людям; не были ли вы суровы к тем, кто слабее вас, например, к прислуге, к приказчикам?

– Для своих служащих я был всегда благодетель, и они должны за меня вечно бога молить, – сказал старик с убеждением; но, тронутый искренним тоном Юлии и желая доставить ей удовольствие, он сказал: – Хорошо, привозите завтра внучек. Я велю им подарочков купить.

Старик был неаккуратно одет, и на груди, и на коленях у него был сигарный пепел; по-видимому, никто не чистил ему ни сапог, ни платья. Рис в пирожках был недоварен, от скатерти пахло мылом, прислуга громко стучала ногами. И старик, и весь этот дом на Пятницкой имели заброшенный вид, и Юлии, которая это чувствовала, стало стыдно за себя и за мужа.

– Я к вам непременно приеду завтра, – сказала она.

Она прошла по комнатам и приказала убрать в спальне старика и зажечь у него лампадку. Федор сидел у себя в комнате и смотрел в раскрытую книгу, не читая; Юлия поговорила с ним и у него тоже велела убрать, потом пошла вниз к приказчикам. Среди комнаты, где обедали приказчики, стояла деревянная некрашеная колонна, подпиравшая потолок, чтобы он не обрушился; потолки здесь были низкие, стены оклеены дешевыми обоями, было угарно и пахло кухней. По случаю праздника все приказчики были дома и сидели у себя на кроватях в ожидании обеда. Когда вошла Юлия, они вскочили с мест и на ее вопросы отвечали робко, глядя на нее исподлобья, как арестанты.

– Господи, какое у вас дурное помещение! – сказала она, всплескивая руками. – И вам здесь не тесно?

– В тесноте, да не в обиде, – сказал Макеичев. – Много вами довольны и возносим наши молитвы милосердному богу.

– Соответствие жизни по амбиции личности, – сказал Початкин.

И, заметив, что Юлия не поняла Початкина, Макеичев поспешил пояснить:

– Мы маленькие люди и должны жить соответственно званию.

Она осмотрела помещение для мальчиков и кухню, познакомилась с экономкой и осталась очень недовольна.

Вернувшись домой, она сказала мужу:

– Мы должны как можно скорее перебраться на Пятницкую и жить там. И ты каждый день будешь ездить в амбар.

Потом оба сидели в кабинете рядом и молчали. У него было тяжело на душе, и не хотелось ему ни на Пятницкую, ни в амбар, но он угадывал, о чем думает жена, и был не в силах противоречить ей. Он погладил ее по щеке и сказал:

– У меня такое чувство, как будто жизнь наша уже кончилась, а начинается теперь для нас серая полужизнь. Когда я узнал, что брат Федор безнадежно болен, я заплакал; мы вместе прожили наше детство и юность, когда-то я любил его всею душой, и вот тебе катастрофа, и мне кажется, что, теряя его, я окончательно разрываю со своим прошлым. А теперь, когда ты сказала, что нам необходимо переезжать на Пятницкую, в эту тюрьму, то мне стало казаться, что у меня нет уже и будущего.

Он встал и отошел к окну.

– Как бы то ни было, приходится проститься с мыслями о счастье, – сказал он, глядя на улицу. – Его нет. Его не было никогда у меня и, должно быть, его не бывает вовсе. Впрочем, раз в жизни я был счастлив, когда сидел ночью под твоим зонтиком. Помнишь, как-то у сестры Нины ты забыла свой зонтик? – спросил он, обернувшись к жене. – Я тогда был влюблен в тебя и, помню, всю ночь просидел под этим зонтиком и испытывал блаженное состояние.

В кабинете около шкапов с книгами стоял комод из красного дерева с бронзой, в котором Лаптев хранил разные ненужные вещи, в том числе зонтик. Он достал его и подал жене.

– Вот он.

Юлия минуту смотрела на зонтик, узнала и грустно улыбнулась.



– Помню, – сказала она. – Когда ты объяснялся мне в любви, то держал его в руках. – И, заметив, что он собирается уходить, она сказала: – Если можно, пожалуйста, возвращайся пораньше. Без тебя мне скучно.

И потом она ушла к себе в комнату и долго смотрела на зонтик.

## XVII

В амбаре, несмотря на сложность дела и на громадный оборот, бухгалтера не было, и из книг, которые вел конторщик, ничего нельзя было понять. Каждый день приходили в амбар комиссионеры, немцы и англичане, с которыми приказчики говорили о политике и религии; приходил спившийся дворянин, больной жалкий человек, который переводил в конторе иностранную корреспонденцию; приказчики называли его фитюлькой и поили его чаем с солью. И в общем вся эта торговля представлялась Лаптеву каким-то большим чудачеством.

Он каждый день бывал в амбаре и старался заводить новые порядки; он запрещал сечь мальчиков и глумиться над покупателями, выходил из себя, когда приказчики, с веселым смехом, отпускали куда-нибудь в провинцию залежалый и негодный товар под видом свежего и самого модного. Теперь в амбаре он был главным лицом, но по-прежнему ему не было известно, как велико его состояние, хорошо ли идут его дела, сколько получают жалованья старшие приказчики и т. п. Початкин и Макеичев считали его молодым и неопытным, многое скрывали от него и каждый вечер о чем-то таинственно шептались со слепым стариком.

Как-то в начале июня Лаптев и Початкин пошли в Бубновский трактир, чтобы позавтракать и кстати поговорить о делах. Початкин служил у Лаптевых уже давно и поступил к ним, когда ему было еще восемь лет. Он был своим человеком, ему доверяли вполне, и когда, уходя из амбара, он забирал из кассы всю выручку и набивал ею карманы, то это не возбуждало никаких подозрений. Он был главным в амбаре и в доме, а также в церкви, где вместо старика исполнял обязанности старосты. За жестокое обращение с подчиненными приказчики и мальчики прозвали его Малютой Скуратовым.

Когда пришли в трактир, он кивнул половому и сказал:

– Дай-ка нам, братец, полдиковинки и двадцать четыре неприятности.

Половой немного погодя подал на подносе полбутылки водки и несколько тарелок с разнообразными закусками.

– Вот что, любезный, – сказал ему Початкин, – дай-ка ты нам порцию главного мастера клеветы и злословия с картофельным пюре.

Половой не понял и смутился, и хотел что-то сказать, но Початкин строго поглядел на него и сказал:

– Кроме!

Половой думал с напряжением, потом пошел советоваться с товарищами и в конце концов все-таки догадался, принес порцию языка. Когда выпили по две рюмки и закусили, Лаптев спросил:

– Скажите, Иван Васильич, правда ли, что наши дела в последние годы стали падать?

– Ни отнюдь.

– Скажите мне откровенно, начистоту, сколько мы получали и получаем дохода и как велико наше состояние? Нельзя же ведь в потемках ходить. У нас был недавно счет амбара, но, простите, я этому счету не верю; вы находите нужным что-то скрывать от меня и говорите правду только отцу. Вы с ранних лет привыкли к политике и уже не можете обходиться без нее. А к чему она? Так вот, прошу вас, будьте откровенны. В каком положении наши дела?

– Все зависимо от волнения кредита, – ответил Початкин, подумав.

– Что вы разумеете под волнением кредита?

Початкин стал объяснять, но Лаптев ничего не понял и послал за Макеичевым. Тот немедленно явился, закусил, помолясь, и своим солидным, густым баритоном заговорил прежде всего о том, что приказчики обязаны денно и нощно молить бога за своих благодетелей.

– Прекрасно, только позвольте мне не считать себя вашим благодетелем, – сказал Лаптев.

– Каждый человек должен помнить, что он есть, и чувствовать свое звание. Вы, по милости божией, наш отец и благодетель, а мы ваши рабы.

– Все это, наконец, мне надоело! – рассердился Лаптев. – Пожалуйста, теперь будьте вы моим благодетелем, объясните, в каком положении наши дела. Не извольте считать меня мальчишкой, иначе я завтра же закрою амбар. Отец ослеп, брат в сумасшедшем доме, племянницы мои еще молоды; это дело я ненавижу, я охотно бы ушел, но заменить меня некому, вы сами знаете. Бросьте же политику, ради бога!

Пошли в амбар считать. Потом считали вечером дома, причем помогал сам старик; посвящая сына в свои коммерческие тайны, он говорил таким тоном, как будто занимался не торговлей, а колдовством. Оказалось, что доход ежегодно увеличивался приблизительно на одну десятую часть и что состояние Лаптевых, считая одни только деньги и ценные бумаги, равнялось шести миллионам рублей.

Когда в первом часу ночи, после счетов, Лаптев вышел на свежий воздух, то чувствовал себя под обаянием этих цифр. Ночь была тихая, лунная, душная; белые стены замоскворецких домов, вид тяжелых запертых ворот, тишина и черные тени производили в общем впечатление какой-то крепости, и недоставало только часового с ружьем. Лаптев пошел в садик и сел на скамью около забора, отделявшего от соседнего двора, где тоже был садик. Цвела черемуха. Лаптев вспомнил, что эта черемуха во времена его детства была такою же корявой и такого же роста и нисколько не изменилась с тех пор. Каждый уголок в саду и во дворе напоминал ему далекое прошлое. И в детстве так же, как теперь, сквозь редкие деревья виден был весь двор, залитый лунным светом, так же были таинственны и строги тени, так же среди двора лежала черная собака и открыты были настежь окна у приказчиков. И все это были невеселые воспоминания.

За забором в чужом дворе послышались легкие шаги.

– Моя дорогая, моя милая... – прошептал мужской голос у самого забора, так что Лаптев слышал даже дыхание.

Вот поцеловались. Лаптев был уверен, что миллионы и дело, к которому у него не лежала душа, испортят ему жизнь и окончательно сделают из него раба; он представлял себе, как он мало-помалу свыкнется со своим положением, мало-помалу войдет в роль главы торговой фирмы, начнет тупеть, стариться и в конце концов умрет, как вообще умирают обыватели, дрянно, кисло, нагоняя тоску на окружающих. Но что же мешает ему бросить и миллионы, и дело, и уйти из этого садика и двора, которые были ненавистны ему еще с детства?

Шепот и поцелуи за забором волновали его. Он вышел на средину двора и, расстегнувши на груди рубаху, глядел на луну, и ему казалось, что он сейчас велит отпереть калитку, выйдет и уже более никогда сюда не вернется; сердце сладко сжалось у него от предчувствия свободы, он радостно смеялся и воображал, какая бы это могла быть чудная, поэтическая, быть может, даже святая жизнь...

Но он все стоял и не уходил, и спрашивал себя: «Что же меня держит здесь?» И ему было досадно и на себя, и на эту черную собаку, которая валялась на камнях, а не шла в поле, в лес, где бы она была независима, радостна. И ему, и этой собаке мешало уйти со двора, очевидно, одно и то же: привычка к неволе, к рабскому состоянию...

На другой день в полдень он поехал к жене и, чтобы скучно не было, пригласил с собой Ярцева. Юлия Сергеевна жила на даче в Бутове, и он не был у нее уже пять дней. Приехав на станцию, приятели сели в коляску, и Ярцев всю дорогу пел и восхищался великолепной погодой. Дача находилась недалеко от станции в большом парке. Где начиналась главная аллея, шагах в двадцати от ворот, под старым широким тополем сидела Юлия Сергеевна, поджидая гостей. На ней было легкое изящное платье, отделанное кружевами, платье светлое кремового цвета, а в руках был все тот же старый знакомый зонтик. Ярцев поздоровался с ней и пошел

к даче, откуда слышались голоса Саши и Лиды, а Лаптев сел рядом с ней, чтобы поговорить о делах.

– Отчего ты так долго не был? – спросила она, не выпуская его руки. – Я целые дни все сижу здесь и смотрю: не едешь ли ты. Мне без тебя скучно.

Она встала и рукой провела по его волосам, и с любопытством оглядывала его лицо, плечи, шляпу.

– Ты знаешь, я люблю тебя, – сказала она и покраснела. – Ты мне дорог. Вот ты приехал, я вижу тебя и счастлива не знаю как. Ну, давай поговорим. Расскажи мне что-нибудь.

Она объяснялась ему в любви, а у него было такое чувство, как будто он был женат на ней уже лет десять, и хотелось ему завтракать. Она обняла его за шею, щекоча шелком своего платья его щеку; он осторожно отстранил ее руку, встал и, не сказав ни слова, пошел к даче. Навстречу ему бежали девочки.

«Как они выросли! – думал он. – И сколько перемен за эти три года... Но ведь придется, быть может, жить еще тринадцать, тридцать лет... Что-то еще ожидает нас в будущем! Поживем – увидим».

Он обнял Сашу и Лиду, которые повисли ему на шею, и сказал:

– Кланяется дедушка... дядя Федя скоро умрет, дядя Костя прислал письмо из Америки и велит вам кланяться. Он соскучился на выставке и скоро вернется. А дядя Алеша хочет есть.

Потом он сидел на террасе и видел, как по аллее тихо шла его жена, направляясь к даче. Она о чем-то думала, и на ее лице было грустное, очаровательное выражение, и на глазах блестя слезы. Это была уже не прежняя тонкая, хрупкая, бледнолицая девушка, а зрелая, красивая, сильная женщина. И Лаптев заметил, с каким восторгом смотрел ей навстречу Ярцев, как это ее новое, прекрасное выражение отражалось на его лице, тоже грустном и восхищенном. Казалось, что он видел ее первый раз в жизни. И когда завтракали на террасе, Ярцев как-то радостно и застенчиво улыбался и все смотрел на Юлию, на ее красивую шею. Лаптев следил за ним невольно и думал о том, что, быть может, придется жить еще тринадцать, тридцать лет... И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем?

И думал:

«Поживем – увидим».

1895